Государственная публичная историческая
библиотека России

«Вглядываясь в прошлое»

ДНЕВНИК
Веры Сергеевны Аксаковой

1854—1855

Редакция и примечания князя
Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева

Москва
2009

УДК 94(47)(093)
ББК 63.3(2)47
А 41

Печатается по изданию: Аксакова В. С. Дневник Веры Сергеевны Аксаковой, 1854—1855 / ред. и примеч. князя Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева.— СПб.: Огни, 1913.— 174 с.

Аксакова В. С.

А 41 Дневник Веры Сергеевны Аксаковой, 1854—1855/ ред. и примеч. князя Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева; Гос. публ. ист. б-ка России.— М., 2009.—192 с. («Вглядываясь в прошлое»).

ISBN 978-5-85209-238-0

В. С. Аксакова (1819—1864) — дочь русского писателя С. Т. Аксакова, сестра знаменитых славянофилов К. С. и И. С. Аксаковых. Дневник увидел свет в 1908 г. на страницах журнала «Минувшие годы» со значительными сокращениями. В издании 1913 г. он был напечатан с подлинной рукописи, предоставленной в редакцию племянницей В. С. Аксаковой. В русской литературе мемуаров и записок дневнику В. С. Аксаковой принадлежит одно из первых мест.

Дневник идет к нам от достопамятной эпохи подъема русской жизни, эпохи Крымской войны и смены царствований, является иллюстрацией своеобразного духовного и внешнего уклада знаменитой русской семьи.

УДК 97(47)(093)
ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-85209-238-0

Вера Сергеевна Аксакова



Вера Сергеевна Аксакова

Первая страница рукописи дневника В. С. Аксаковой

[Предисловие к изданию 1913 г.]

Дневник Веры Сергеевны Аксаковой, дочери автора «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука», сестры знаменитых славянофилов Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, долгое время не мог быть напечатан в силу цензурных условий и затруднений и увидел свет (с значительными сокращениями) только в 1908 г. на страницах журнала «Минувшие годы». В русской литературе мемуаров и записок дневнику В. С. Аксаковой принадлежит одно из первых мест. Он вышел из недр примечательнейшей русской семьи и является памятником внутренней ее жизни, иллюстрацией своеобразного духовного и внешнего уклада жизни. Дневник В. С. Аксаковой идет к нам от достопамятной эпохи подъема русской жизни, эпохи Крымской войны и смены царствований. С редкой изобразительностью и проникновенностью рисует В. С. Аксакова тот социально-психологический кризис, который переживался в эти годы русскими людьми и особенно остро аксаковской семьей. Связи этой семьи со старым укладом были крепче и интимнее, чем других групп передовой интеллигенции. Аксаковым было тяжелее, чем кому-либо, осудить старый отживающий строй, и шедшее от них осуждение звучало особо значительно. Режим царствования Николая Павловича, сама его личность вызывали безудержные в своей резкости порицания, например у Герцена, но самое беспощадное, самое горькое осуждение Николаю I и его режиму принадлежит тихой, по-христиански настроенной, полной горячего патриотического

чувства Вере Сергеевне Аксаковой. «...Все говорят,— читаем в ее дневнике,— о государе Николае Павловиче не только без раздражения, но даже с участием, желая *даже извинить* его во многом. Но между тем все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, стало легче дышать... Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление об нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес... Он действовал добросовестно по своим убеждениям: за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем!» Сожаление Веры Сергеевны для памяти Николая Павловича много горше, чем негодование Герцена.

Еще с одной стороны замечателен дневник В. С. Аксаковой. Отражая ярко и полно своеобразную и привлекательную личность автора, дневник позволяет вписать новую страницу в историю русской женщины.

Ольга Григорьевна Аксакова, родная племянница Веры Сергеевны, сообщает следующую характеристику автора.

«Вера Сергеевна была самая старшая из дочерей Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны Аксаковых; старше ее из детей был только Константин Сергеевич. Поэтому и воспитание ее отделяется от воспитания остальных дочерей; оно более серьезно, более подходит к воспитанию братьев. В то время как во всех письмах родителей Константин и Вера обособляются от других, остальные дочери упоминаются по большей части под каким-нибудь общим именем, вроде «и все мои душеньки». Или при поименном перечислении пишутся имена других без всяких эпитетов, про Веру же всегда говорится «мой друг Вера», «моя умница Вера» и т.д. Вера Сергеевна была богато одаренная натура: она могла многое понимать, была образована, прекрасно рисовала карандашом и писала масляными красками. Она была не чужда экзальтации, сильно увлекалась и чувствовала большую склонность к мистицизму и философии. Но из того, что Вера Сергеевна занимала у родителей какое-то особое почетное место, никак нельзя заключить о столь обычном у родителей предпочтении одного ребенка другим. Сергей Тимофеевич обладал способностью беспристрастно ценить своих детей и отдавал каждо-

му должное. Вера Сергеевна была исключительным явлением даже и в этой особо талантливой семье. Она рисуется в моих воспоминаниях как индивидуальность, как чрезвычайно обаятельное существо, в то время как остальные дочери — все вместе и каждая отдельно — составляли только *семью*. Все были религиозны, но она жила религией, горела верой и любовью к Богу, но в ней это не носило печати особой серьезности и скуки. Эта жизнь проходила где-то внутри ее, а в жизни она была — ребенком с детьми, веселая девушка со своими подругами, понимающий брат — для братьев, отзывчивый друг для всех и каждого».

Вера Сергеевна родилась 7 февраля 1819 г., умерла 24 февраля 1864 г. и погребена рядом со своими родителями в Симоновом монастыре в Москве. Она пережила отца, мать и много любимого своего брата Константина Сергеевича.

Сохранилось следующее предсмертное письмо Веры Сергеевны к другу сердца Машеньке Карташевской, ее двоюродной сестре.

«Милый друг мой Машенька, друг всей моей жизни, не скорби слишком обо мне, душа моя. Я столько страдаю, что Господь милостив, что избавляет меня от страданий, ты порадуйся со мною, что я вчера в светлой радости сподобилась приобщиться Святых Его Тайн; какого блаженства может человек желать более! — Не скорби, друг мой милый, что ты не навестила меня; что делать, обстоятельства так сложились, что помешали тебе. В твоей любви, в твоей нежной дружбе могу ли я сомневаться после всех тех радостей дружбы, которыми ты наполнила жизнь мою. Обнимаю тебя, душа моя, да благословит тебя Господь. Милую мою дорогую тетеньку, которую вдвойне люблю, крепко целую. Всех благодарю за дружбу и участие, тебя же, друг мой милый, всем сердцем обнимаю, друг твой и сестра Вера».

В настоящем издании дневник Веры Сергеевны Аксаковой печатается по подлинной рукописи, предоставленной в распоряжение редакции Ольгой Григорьевной Аксаковой. Таким образом, явилась возможность исправить неточности и

восстановить все пропуски, сделанные при печати дневника в журнале «Минувшие годы».

К дневнику приложены отрывки из записок В. С. Аксаковой о смерти Гоголя, появившиеся в печати в 1908 г. («Минувшие годы», кн. 7).

Портреты В. С. Аксаковой и ее родителей — Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны — воспроизводятся впервые. Первый портрет Веры Сергеевны (помоложе) взят из того альбома, который был предназначен первой внучке С. Т. Аксакова, Ольге Григорьевне, и в котором все члены аксаковской семьи оставили память о себе. Портрет В. С. сделан карандашом, в начале 50-х гг. Портрет С. Т. Аксакова зарисован Э. А. Дмитриевым-Мамоновым в альбоме А. П. Елагиной 23 мая 1848 г.

Портреты В. С. Аксаковой (постарше) и О. С. Аксаковой воспроизведены с фотографий, принадлежащих О. Г. Аксаковой.

Факсимиле представляет первую страницу дневника В. С. Аксаковой.

1854 год

Абрамцево[1], *ноября 14-го, воскресенье*. Сегодня я не была у обедни, потому что ездила вчера, а сегодня ездили сестры.— Почту привезли рано,— кроме газет, три письма — от Гриши, от Хлебникова[2] и совершенно неожиданно от Смирновой[3].

---

[1] Абрамцево — подмосковная Аксаковых, в которой они проводили зиму 1854—1855 гг. Не было только Григория Сергеевича, который в конце 1854 г. получил место в Самаре и уехал туда. Иван Сергеевич 18 ноября вернулся в Абрамцево из своего путешествия по Малороссии, куда он за год до этого был командирован Императорским Географическим обществом для изучения малороссийских ярмарок. Семья состояла из дочерей Веры, Надежды, Любви и больной Ольги.

[2] Очевидно, Петр Вас. Хлебников, почетный гражданин г. Ярославля, тамошний именитый человек. Когда Ив. Серг. Аксаков работал в Ярославле в комиссии о бродягах, Хлебников сошелся с ним, а потом принимал и семью Аксаковых в своем доме.

[3] Смирнова Александра Осиповна — известная фрейлина двора имп. Николая I; друг или хорошая знакомая плеяды наших писателей: Гоголя, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Хомякова, Аксаковых и др.; автор «Записок». Некоторая часть ее переписки с Аксаковыми напечатана в «Русском архиве». 1896. I (1). 142 с. [Одно из писем С. Т. Аксакова от 28 марта 1852 г. почему-то напечатано во 2-й раз в том же «Рус. арх.». 1905. III (9). 210—212]. Письма Смирновой к И. С. Аксакову напечатаны в «Рус. арх.». 1895. III (12). 423—480. Письмо, о получении которого записала в дневник Вера Сергеевна, не напечатано, но ответ на него С. Т. имеется в «Рус. арх.». 1896. I (1). 156—158). Нелишнее привести выдержку из этого письма, которая послужит введением к самому дневнику. «Исполняю ваше желание и расскажу вам краткую повесть о нашем житье-бытье. Мы по-прежнему живем постоянно в Абрамцеве; некоторые продолжают похварывать, остальные здоровы. Я часто хвораю и крепко старею, хотя стараюсь

Известий из Крыма никаких особенных, кроме того, что 2 ноября была буря и корабли неприятельские пострадали. Маменька слышала в Хотькове, будто бы в «Городском листке» 12-го числа было напечатано известие о сильном нашем поражении, но это не может быть: иначе в «Московских ведомостях» должно уже было быть перепечатано. Смирнова также пишет, что ходят какие-то неблагоприятные слухи; может быть, они оправдаются, как предчувствия, но еще из-

---

бодриться, пишу, а с тех пор, как не виделся с вами, написал очень много; кое-что напечатал даже в «Москвитянине». Я пишу мою семейную хронику и мои личные воспоминания. По несчастному положению нашей цензуры, и половины нельзя будет напечатать того, что мной написано; это меня огорчает, потому что я получил вкус к похвалам и сочувствию, с которыми было встречено все напечатанное мной. Я не стану вам рассказывать, что делает в деревне мое семейство; вам хорошо известны элементы нашей духовной жизни, и потому вы хорошо знаете, как мы все проводим время и как будут проводить его все, когда будут принуждены догадаться, что надо жить в деревне. Вы очень верно поняли тревогу в мирном Абрамцеве. Да, мы находимся теперь в исключительном положении. Мы погружены в безотрадное горе и в тревожное ожидание новых печальных явлений нашего безысходного положения. Много великих событий совершилось на моей памяти (я помню, как возникал Наполеон); но ни одно так не волновало меня, как настоящее или, лучше сказать, грядущее событие. Самое тяжелое в нашем положении — неизвестность, туман, который нас окружает. Что мы такое? Чего хотим, за кого стоим? Никто не знает. В 12-м году было выставлено знамя, было сказано, что мы не положим меча до тех пор, покуда хотя один неприятель будет оставаться на земле нашей, что мы не уступим ни одного вершка этой земли. Итак, дело было ясно. А теперь что? Но я оставляю этот предмет, о котором надо говорить много или ничего. Я и теперь боюсь, не сказал ли я чего-нибудь лишнего, что будет вам прочесть неприятно. Я расстроен не только духом, но и телом; нервы мои напряжены и раздражены, и я захварываю от каждого известия из Крыма. Как я рад теперь, что живу в деревне: я не слышу и не вижу того, что вы видите и слышите. Конечно, в Москве не то, что в Петербурге, но довольно гадко, как вы сами сказали. Все сказанное вами в письме очень верно и справедливо. Но не может ли живое начало само собой выйти на сушу, и не сделаемся ли тогда все мы невольно, бессознательно его верными исполнителями? Не слышно ли и в настоящих событиях шага истории? Константин давно уже сказал в каких-то шуточных стихах:

«Событий полны времена
И слышен шаг истории».

вестий невозможно было получить. Что-то Бог даст! Какие бы ни были известия, все же они нам возвестят страшное кровопролитие, иначе быть не может, ни нам, ни врагам нашим отступить нельзя. Сердце сжимается, как подумаешь об этом ужасном истреблении людей, об этих страшных человеческих страданиях. И как больно, и тяжело, и обидно думать, что часто наше храброе войско погибает от непростительной оплошности начальника, как, например, этот Данненберг[1], который, по его собственному донесению, как он ни старался представить его в другом виде, кругом виноват в той гибели нашего войска, которой оно подверглось в последнем деле при вылазке 25 октября. Данненберг очевидно опоздал, а про редуты, которые он заставил строить под страшным огнем неприятельским, он не упоминает, хотя Меншиков об этом донес в первом своем донесении об этом деле[2].

Но что нам печатают за донесения Меншикова! Это возмутительно читать! Из них делают такие сокращенные извлечения строчек в пять, так что решительно не можешь себе составить настоящего понятия. Это уже слишком пренебрежительно или даже злонамеренно. Кажется, нарочно хотят нас оставить в неизвестности, в страхе; все дурное нам сейчас выставляют на вид, а о более утешительных подробностях умалчивают, вероятно, для того, чтобы нас приготовить к необходимости мира как единственной возможности прекратить эти ужасы. Я убеждена, что Нессельроде[3] старается об этом. Недаром также напечатано в «Новой прусской газете» письмо русского, присланное из Петербурга, в котором есть такая фраза: «что нам нет спасения от каленых ядер в Севастополе». Для чего именно выбрать такое письмо, в котором указывается на то, каким образом могут нам нанести враги наши наибольший вред, как не с намерением, чтоб они

---

[1] Петр Андреевич Данненберг, генерал, получивший печальную известность в Инкерманском сражении, после которого он назначен был членом Военного совета.

[2] Князь А. С. Меншиков, неудачный главнокомандующий русскими войсками, замененный впоследствии кн. Горчаковым.

[3] Министр иностранных дел, руководитель внешней политики в царствование имп. Николая I.

воспользовались этим указанием! Другое дело, если б у нас печатался целый ряд писем о Севастополе, в которых бы толковалось и об успехе и неуспехе, но напечатать одно такое письмо, это уже слишком странно,— и я просто обвиняю Нессельроде в злоумышленности, каким бы то ни было способом, принудить нас хотя к постыдному миру. Смирнова пишет, что ходят слухи о мирных переговорах, а между тем Пальмерстон поехал к императору Францу, чтобы уговорить его послать 100-тысячную армию к Перекопу, чтобы отрезать нам всякое сообщение и завладеть Крымом, как Мальтой.— Что-то будет! Да смилуется Бог над нами!

Смирновой письмо умно, дружественно и в самом благонамеренном духе. Она говорит:[1]

«Какие времена! Совершаются судьбы Божьи над народами. Но мы противимся судьбам святым над нами, да не покарает нас Бог за то; но народ не виноват, что правительство против его желания так поступает, или, может быть, народ всегда виноват, если у него такое правительство. Справедливы стихи Хомякова[2], теперь они еще более оправдались. Где же покаяние, возможно ли оно, или, может быть, нужны в самом деле страшные испытания, чтобы Русская земля очистилась? Куда ведет нас Божья воля? Страшно. Если и настанет, наконец, светлый день, то через что должны пройти люди? Господь да свершит святые судьбы свои в милости и да укрепит людей своих на пути испытания и да узрим мы день спасения!»

15 ноября. Чтения у нас вовсе нет вот уже несколько времени, и мы пробавляемся старыми книгами, читаем теперь поход 13-го года Бутурлина[3].

Смирнова пишет, что Батюшков совершенно исцелился, пришел в себя после 30-летнего сумасшествия и теперь читает донесения из Крыма и следит на карте. Невероятно поч-

---

[1] Далее в подлиннике пропуск в несколько строк, очевидно, оставленный для помещения выдержки из письма Смирновой.

[2] Известные стихи А. С. Хомякова «К России»: Тебя призвал на брань святую... и т.д. Строфы о покаянии: «О, недостойная избранья, Ты избрана. Скорей омой себя водою покаянья, Да гром двойного наказанья Не грянет над твоей главой»...

[3] «Картины осеннего похода 1813 года в Германию» Бутурлина.

ти; мы праздновали его возрождение чтением его стихов, из которых некоторые особенно восхищали нас. Слава богу, если то правда, что он исцелился, каково должно быть его впечатление,— очнуться после стольких лет![1]

Сегодня маменька опять была у обедни в Хотькове, опять там слышала те же слухи, только еще с подробностями, будто избиение было страшное; два раза били отбой, наши войска не хотели отступать; что потеря была ужасная, с нашей стороны 360 одних офицеров, но неприятельская армия еще более потерпела и совершенно притиснута нами к морю. Поскольку справедливы эти слухи, трудно решить; по всему кажется, что известия еще не могли дойти, но всего вероятнее, что там происходило или происходит подобное кровопролитие. Народ же, может быть, чует это.

Что-то принесет нам почта? Завтра газет не будет, но не будет ли письма? Впрочем, Ефим послан в Москву и, вероятно, знакомые наши будут писать с ним. Что-то Бог даст?

16 ноября. Сегодня привезли с почты два письма, одно из деревни, другое от Ивана, последнее где-то гуляло две недели. Иван пишет, между прочим, что скоро приедет[2]. Какое-то будет свидание? Дай Бог, чтоб по крайней мере обошлось без волнений и наша семейная мирная жизнь не была бы нарушена. Политических известий никаких; видно, хотьковские слухи, как и всегда, впрочем, бывает, совершенный вздор. Иван пишет как слух, что великие князья скупают по 6 целковых штуцера иностранные и формируют штуцерные батальоны. Говорят, в Петербург провезли бомбу или пулю, пролетевшую между великими князьями и ранившую флигель-адъютанта Альбединского, за что они получили Георгия[3]. Да бог с ними, пусть получают и двадцать Георгиев, да только не мешают нашим войскам на сражениях! Лучше бы,

[1] Слух о выздоровлении душевнобольного с давних пор поэта К. Н. Батюшкова не оправдался.

[2] Это письмо из Харькова от 2—3 ноября напечатано в книге «И. С. Аксаков в его письмах». Т. 3, ч. I. М., 1892. С. 99.

[3] Действительно, П. П. Альбединский (1826—1883), скончавшийся в звании генерал-адъютанта, а во время Крымской кампании полковник, был контужен под Аккерманом и, получив золотой палаш «за храбрость», оставил армию.

если б они оттуда уехали: конечно, их должны там оберегать и пожертвуют для спасения их тысячами людей.

В доме у нас наконец тепло, степлело на дворе. Вечером дочитали Бутурлина; он оканчивает замечательной фразой, которую бы, конечно, не пропустила современная цензура. Константин прочел нам свои стихи, недавно им написанные; прекрасные, особенно последние строфы, но их распространять не должно. Страшные речи и мысли высказываются. Что-то будет! Господь да помилует нас!

17 ноября. К обеду приехал Гиляров[1], сообщил много новостей из Москвы, откуда он только что вернулся. Новости все — наводящие уныние. Между прочим, он рассказывал, как какое-то известное лицо, лет 20 тому назад, представило два ящика свинца с объяснением, что разработка его около Тифлиса доставила бы нам возможность не только снабжать им себя, но и Европу; как другое лицо после путешествия за границу представило сведения о превосходном вооружении англичан. Ящики и теперь, вероятно, не распечатаны, а сведение не прочтено. Слухи об Меншикове неутешительны. Из Севастополя пишут, что он совершенно потерялся и хотел бросить и город, и флот на жертву неприятеля, и если б неприятель напал тогда на Севастополь, он был бы взят без боя. Но Бог не допустил этого; неприятель потерял время, неизвестно почему. Наши моряки делают чудеса в Севастополе. Говорят о какой-то медали, вероятно, пущенной в ход каким-нибудь поляком; на одной стороне ее крестьянин с бородой держит в руке бритую голову и буквы С. Т., на другой одноглавый орел и буквы А. Д. Лорда Дункельна[2] отпустили в Англию; отчего такая любезность, или лучше подлость, перед врагом? Почему же наши пленные остаются в чужой земле? Запрещено печатать что-либо, даже акты и документы, касающиеся до Смутного времени России, также все относящееся до быта русского народа, даже собрания преда-

---

[1] Н. П. Гиляров-Платонов, публицист (1824—1887), кончил в 1848 г. курс в Московской духовной академии, был доцентом, в 1854 г. вышел из духовного звания и некоторое время был цензором в Москве. С конца 1867 г. и до самой смерти издавал «Современные известия». Был ревностным сотрудником журналов И. С. Аксакова.

[2] Английский посол.

ний, песен и т. д. Неужели они думают такими мерами остановить смуты!..

Гиляров — человек очень умный и замечательный; его рассказы чрезвычайно интересны; он знает жизнь с таких сторон, какие мало известны между нами. Он обещал прочесть свои записки. Но личность его как-то делает тяжелое и постоянно унылое впечатление, и в характере его есть черты не очень приятные. Положение его, как лица, вышедшего из духовного звания и постоянно находящегося под гнетом духовной власти, давящей всякое свободное движение жизни в душе человека, весьма тягостное.

18 ноября. Сегодня мы все встали ранее обыкновенного, чтобы получить раньше почту. Писем было много. Получены газеты, и в них подтверждение известия, сообщенного Гиляровым, что неприятельских судов 2 ноября погибло не 8, а 25; что много обломков кораблей, и людей, и лошадей выкидывает на берег; что английские батареи едва действуют; что мы заняли какой-то мыс. Эти известия нас порадовали, но как только мы начали читать письма М. Карташевской[1] из Петербурга, мы были поражены известием, что хотят заключить мир с Австрией и принять постыдные условия[2]. Мы все были поражены и взволнованы этим неожиданным известием, продолжали читать письмо среди восклицаний отчаяния, как вдруг послышался какой-то шум и вошел Иван. Тут новое волнение и движение; все вскочили, стали здороваться; отесенька и маменька даже расстроились. Начались разные толки и рассказы с обеих сторон. Вслед затем воротился посланный наш из Москвы и привез много журналов и кучу писем, большей частью все подтверждающих уже известные нам известия. В чтении писем, газет, толках и разговорах с Иваном прошел весь день, слава богу, благополучно; часто

---

[1] Сестра Ст. Тим. Аксакова, Надежда Тимофеевна, была замужем за Гр. Ив. Карташевским. Здесь речь идет об их дочери. Сын их Николай был на войне.

[2] Дипломаты выработали в ноябре 1854 г. следующие четыре пункта, принятие которых делало возможным начало переговоров о мире: 1) русское покровительство над Дунайскими княжествами прекращается; 2) судоходство по Дунаю свободно; 3) прежние договоры пересматриваются; 4) христиане Порты находятся под общим покровительством держав.

казалось, что действуешь во сне. Оно и лучше, что свидание произошло среди такой суеты и волнения посторонними предметами. Дай Бог, чтоб все было хорошо.

19 ноября. Утро мы провели в разговорах, в чтении журнала одного камер-юнкера Чарыкова из Севастополя[1]; очень просто написано и с несомненной печатью правды.

Воротились с почты, привезли два письма от тетеньки Надежды Тимофеевны с вложением копии письма Николая Карташевского из Севастополя. Они ждут с нетерпением генерального сражения: всем надоела постоянная бомбардировка. Неприятель укрепляет себя с фланга.

Константин с Иваном постоянно разговаривают. Константин так добр, что, кажется, все забыл; но как бы из этого не вышло вредного недоразумения, которое кончится все-таки неприятностями. Их разговоры касаются более общих вопросов, особенно, разумеется, настоящего положения дел в России. Все согласны, что кризис внутренний неизбежен, но как и когда он будет, никто не может решить. Он не зависит от отдельных лиц или даже отдельных сословий: только сам народ может его произвести, а что может пробудить народ от такого долгого усыпления, конечно, никто не знает. Константин сам думает, что только страшные бедствия в состоянии подвигнуть народ и вызвать его спящие силы; и кажется, Божьи судьбы ведут нас к тому. Само правительство слепо старается об этом, но страшно подумать об этом грядущем времени. Через что должны пройти люди! Что-то будет! В настоящую минуту нет человека довольного во всей России. Везде ропот, везде негодование! Раскольники ожесточены до крайности,— закрыли Преображенское и Рогожское кладбища, запрещено раскольников принимать в купцы и т.д. Один знакомый нам раскольник, купец, сказал: «Мы подождем да и решимся на что-нибудь!» Служение молоху, как выражаются некоторые, перешло всякую меру; душегубство есть единственная цель нашего правительства. Всякая мысль, всякое живое движение преследуется как

---

[1] Речь идет, очевидно, о дневнике Валер. Ив. Чарыкова (1818—1884), камер-юнкера с 1848 г. Чарыков был полевым почт-директором. Дневник его до сих пор не издан.

преступление; самая законная, самая умеренная жалоба считается за бунт и наказывается.

Вечером мы читали «Записки театрала» Жихарева, вызванные воспоминаниями отесеньки о Шушерине и т.д.[1] Явно, что в нем есть какое-то злое намерение противоречить отесеньке. Он и начинает с того, но в результате выходит, что он сам то же самое говорит. Подробных сведений много, предмет мог бы быть очень занимателен, но, как сказали в «Современнике», Жихарев не возбуждает никакого сочувствия к тому, что пишет.

За чаем и после него долго разговаривали мы с Иваном,— или — лучше — он нам рассказывал о Малороссии. Много интересного, умных замечаний, но между тем часто что за поверхностный взгляд, что за неосновательные суждения! Я даже ему это сказала. Надобно, однако, быть осторожней, чтоб не запутаться в прениях; лучше прималчивать, а то как раз скажешь что-нибудь лишнее, натолкнешься на такой предмет, о котором должно молчать, невольно выходят намеки.

20 ноября. Все еще продолжаются разные разговоры; сегодня утром читал Иван малороссийские песни. Прелесть, как хороши некоторые! За завтраком мы опять было схватились, но я замечаю, что он не позволяет себе пускаться в споры: это недаром. Может быть, он даже оскорбился моими словами; вперед этого не должно быть. Маменька и сестры поехали к Троице, погода прекрасная, и дорога также. После обеда много говорили. Константин добродушно все рассказывает, забывая даже, какое впечатление производят его рассказы на его слушателя. Иван говорил о том, что он по своим делам службы часто сталкивается с людьми разных образований, или вовсе без образования, находящихся на гораздо низшей ступени всякого развития; что именно этих людей надобно спасать от тьмы, их постоянно поглощающей; часто они сами тоскуют и не знают, как спастись. Упрекал слегка нас, особенно Константина, что он слишком исключителен и

---

[1] Статья С. Т. Аксакова «Я. Е. Шушерин» была напечатана в «Москвитянине» (1854. №№ 10—11) и вызвала некоторые опровержения в «Воспоминаниях старого театрала» С. И. Жихарева (Отеч. зап. 1854, окт.). По поводу их С. Т. напечатал в «Москвитянине» возражение «Несколько слов о статье Жихарева».

готов осудить человека, если он хвалит Петербург и т. д. Я ему несколько возражала: что касается до нас, это несправедливо. Потом мы читали критику на «Опыт биографии Гоголя»[1].

21 ноября. Мы были у обедни, приехали во время покрывания, т.е. обряда полупострига; Шаб., молодая хорошенькая девушка, с напряженным вниманием смотрела на этот обряд: она сама хочет вступить в монастырь, неизвестно — вследствие каких причин. После обряда она сказала с радостным лицом: «Кончилось обручение». Кто знает, может быть, и в самом деле коснулась души ее та простая, истинная любовь к Богу, перед которой бледнеют все блага жизни. Такая любовь, такое стремление по-настоящему весьма естественны в человеке, и только испорченность нашей природы, искажение нашего разумения делают их редкими и странными для нас явлениями. За обедней приобщались — игуменья, ее дочь Еллинская и внучка Шаб., и почти все монахини. Вид стольких женщин, хотя, конечно, грешных, но все же посвятивших себя Богу и приобщающихся Ему в эту минуту, производил особенное впечатление. Мы простились после обедни с Еллинской, которая должна скоро ехать; воротились домой уже в час. Маменька с сестрами воротились от Троицы часа в три, привезли газеты и два письма — от С. Погодиной[2] и от Княжевича[3]. Новостей особенно никаких. Данненберг отставлен. К обеду приехал священник с женой, после обеда читали кое-что, начали читать о Суворове.

22 ноября. В понедельник писали письма, вечером продолжали читать о Суворове.

23 ноября, вторник. Не ожидали писем, однако ж получили письмо от Погодина, только что возвратившегося из Петербурга. Он очень доволен своей поездкой, приемом великих князей и, вообще, настроением духа в Петербурге. Чуть ли он не ошибается в последнем! Может быть, некото-

---

[1] Написанный П. А. Кулишом «Опыт биографии Гоголя» появился в 1854 г. в «Современнике». Там же была напечатана и статья Лонгинова по поводу «Опыта» Кулиша. О ней-то, по всей вероятности, и идет тут речь.

[2] Дочь историка М. П. Погодина.

[3] Д. М. Княжевич, бывший в это время одесским попечителем, был старым и верным другом С. Т. Аксакова.

рые и прикинулись при нем русофилами[1]. Погодин хочет сам заняться «Москвитянином» и зовет всех к содействию. Письмо от Гильфердинга[2] также сообщает довольно приятное известие об отражении неприятельских кораблей от крепости Петропавловской на Камчатке. Гильфердинг собирается к Новому году в Москву и к нам. Погодин получил, как видно, поручение написать для Норова, министра просвещения, отчет о состоянии просвещения, учебных заведений и т. д.— Тема обширная; как-то он ею воспользуется! Конечно, она будет без результата в министерстве, но хорошо, по крайней мере, что будет написана и пойдет по рукам, как и его политические письма, которые приобрели ему *народность*[3] и всеобщее уважение. Вечером мы читали «Записки студента»[4]. Очень интересно и живо написано, видно, что это в самом деле записано в самую минуту событий того времени.

24 ноября. Утром читала я «*Повесть о малороссийском народе*»[5]. Сильно возбудительная вещь. Все, каждое слово проникнуто одним духом! А между тем нельзя не видеть всех вин самой Малороссии, которые неизбежно влекли ее к гибели. После обеда, часу в 8-м, уехал Иван в Москву; поехал он весело, какой-то воротится? Дай Бог, чтоб ничто не нарушило мир душевный нашей семьи. Читали Марьета и потом какую-то повесть в «Москвитянине», вперемежку с «Journal de Francfort».— Ноты Нессельроде выше всякого вероятия. Как писать к Пруссии, что одну из нот с Австрией мы писали sous la dictee de la Prussie!

25 ноября, четверг. Газеты привезены рано и 2 письма, одно от М. Карташевской, другое от Трушковского[6]. Карта-

---

[1] В ответ на письмо Погодина С. Т. Аксаков писал: «Вы что-то слишком хвалите Петербург: уж не подольстился ли он к вам змием искусителем» (Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. XIII. С. 175).

[2] Гильфердинг Александр Федорович, известный славист, воспитавшийся в славянофильских кружках, окончил курс в Моск. ун-те в 1852 г. Отец его, Федор Иванович, служил по Министерству иностранных дел.

[3] В. С. Аксакова слово «народность» пишет вместо слова «популярность».

[4] Воспоминания С. И. Жихарева, печатавшиеся в «Москвитянине» 1854 г.

[5] Произведение П. А. Кулиша.

[6] Трушковский — племянник Гоголя и издатель его сочинений.

шевские собираются к нам, может быть, даже скоро. От Коли[1] из Севастополя получили они грустное письмо, не видят конца этому положению. Балаклава вследствие укреплений неприятельских сделалась вторым Севастополем. Говорят, на место Данненберга Липранди: этим все довольны. Липранди до сих пор отличался храбростью и отважностью. После бурной погоды в Крыму настало июньское тепло. Гильфердинг пишет, что, по последним известиям из Крыма, там ничего не происходило важного. Все удивляются, зачем такая бездеятельность с нашей стороны; враги наши мало стреляют, но укрепляют себя со всех сторон укреплениями. Против Меншикова сильная партия в Петербурге. Он мог ошибаться, делать промахи, но он благонамерен по крайней мере, тогда как того же нельзя сказать о тех, кто распоряжается в Петербурге. Жаль, что Меншиков не любим, как говорят, в войске именно потому, что неприветлив: осматривая войска, проезжая мимо них, он ни слова не обращает к ним, и они этим обижаются. Трушковский сообщает слух о взятии Балаклавы, но это вздор. Трушковский едет в Петербург, а на праздниках к нам. Ему советуют искать места в главной квартире. С его знанием турецкого языка это, вероятно, возможно.

26 ноября. Сегодня получено одно письмо от Казначеева[2]. Вести, им сообщаемые, уже всем нам известны, другие же весьма сомнительны, будто Англия и Франция желают мира. Его желает, может быть, Австрия, и все в страхе, чтоб государь не заключил с ней мира.— В газетах нового ничего. Подробности из «Морского сборника» о гибели неприятельских судов, 35 транспортных и 6 больших кораблей. Какой истинно христианский подвиг — спасти погибавших врагов с опасностью для своей жизни и в то время, как их союзники отказались от такого самопожертвования! Донские казаки-охотники совершили его. Господь не оставит народ, способный на такие дела. Одно транспортное судно, выкинутое на мель, погибало, когда наши войска, приблизившись под переговорным флагом, дали знать экипажу: английский капитан и анг-

---

[1] Сын Н. Т. Карташевской, бывший на войне в Крыму.

[2] Давний приятель С. Т. Аксакова Алдр. Ив. Казначеев (1788—1880), умерший сенатором в чине д. с. с., в 1848 г. был назначен одесским градоначальником, а в феврале 1854 г. сенатором.

лийские матросы (между ними только 7 турок) спаслись, остальные 25 человек турок оставались на корабле. Английский капитан отказался им помочь, говоря, что он не намерен рисковать жизнью английских матросов для спасения турок. Тогда несколько охотников из донских казаков вызвались и с великой опасностью для себя самих исполнили, однако ж, благополучно свое доброе дело.

Утешительно читать в газетах распоряжения Великого князя Константина насчет морских раненых, его попечения о них и т.д. Вообще, в этом маленьком уголке правления начинается реакция. Константин призывает всех к деятельности, дает место мысли, знанию, возбуждает общее участие к общему делу, сообщает все, что может, во услышание всем, для общего содействия и т.д.

Маменька говеет и проводит сегодня день и ночь в Хотькове. Сегодня день рождения Любы. За обедом мы поздравили друг друга и пожелали уничтожения немецкой партии в России.— Спешим читать иностранные газеты, Путята[1] прислал нам их так много зараз. В московских газетах напечатано объяснение в нескольких резких словах гр. Ростопчина о том, что он ни Погодину, ни Тихонравову не давал права печатать письма его отца (известного гр. Ф. В.), что он сообщил их им только для справок, а между тем Погодин напечатал, что поместит их все в «Москвитянине», а Тихонравов уже поместил их в «Отечественных записках» и, несмотря на его несогласие, еще напечатал статью о том же (но этой статьи нет в «Отечественных записках», верно, она была остановлена). Из всего этого вышла довольно грязная площадная сцена. Погодин, самым оскорбительным образом, с обидными намеками, за то, что он напечатал эти письма в журнале, напал на Тихонравова, который, в свою очередь, отвечал самым оскорбительным образом. Погодину, верно, очень неприятны такие обвинения, особенно в минуту его славы, народности, общего уважения, возбужденного его письмами[2].

---

[1] Ник. Вас. Путята (1802—1878), писатель.

[2] История, возгоревшаяся по поводу изданных в статье Н. С. Тихонравова писем — «Гр. Ф. В. Ростопчин и русская литература в 1812 году». (Отеч. зап. 1854), изложена подробно Барсуковым в «Жизни Погодина». Т. XIII. С. 261—267.

27 ноября, суббота. Мы сидели вечером за чтением иностранных журналов, когда, к общему нашему удивлению, возвестили нам Гилярова. Первым его словом к маменьке было: «Я надеюсь, что вы не откажетесь быть крестной матерью моего сына». Что было делать: отказаться совестно, а принять приглашение не очень приятно; лишние расходы и сверх того какая-то связь, какие-то обязательства налагаются, которые иногда бывают очень некстати. Жена же у него всегда больная и прихотливая, отказ мог бы ее так огорчить, что она разнемоглась бы еще более: нечего делать, маменька согласилась, и в понедельник назначено крещение.

Я сегодня вспомнила, что у нас с Константином есть крестник, которому уже теперь должно быть 17 лет, и надобно признаться, что мы поступили с ним довольно беспечно. Отец его писал прежде и присылал даже свои бумаги, но мы долго не отвечали почему-то, а потом искали его и не нашли. Его перевели куда-то в другое место, так и совсем потеряли из виду, а, может быть, могли бы ему чем-нибудь быть полезны. Крестили мы его по особенному случаю. В 1837 г. поехали мы с маменькой в Курскую губ. в деревню к тетеньке В. Сем. Самбурской. Мне было 18 лет, Константину 20. Мы были и на Коренной тогда. Погостивши у тетеньки, мы возвращались обратно. Один раз, часов в 9 вечера, кажется, около Тулы, подъехали мы к станционному дому, не думали даже выходить из кареты. На крыльце стояла старушка, она обратилась к нам с просьбой окрестить ребенка, только что родившегося; как мы ни отговаривались, принуждены были согласиться на ее просьбы. Она нам рассказала, что станционный смотритель здесь только недавно, никого не знает, самого его нет дома, и жена его не знает, к кому обратиться. Мы вошли в маленькую комнату, еще в другую, где лежала родильница, прехорошенькая молодая женщина. Пришел священник, мы окрестили, поцеловали куму свою, сели и уехали. Потом в другой раз, через несколько лет, мы — маменька и я, опять ездили в Курск, но уже зимой, совершенно при других обстоятельствах; опять попали на станцию к нашему куму, Яновскому; крестнику уже было года три, милый мальчик; красавица кума сама суетилась, чтоб нас угостить,

с отцом также познакомились, они были нам очень рады. Воспоминания давно минувших дней!

Гиляров много рассказывал любопытных подробностей о Филарете; он хочет описать эту замечательную личность, возбуждающую негодование в душе каждого подчиненного и вместе с тем порабощающую всех своим влиянием.

28 ноября, воскресенье. Получили письма от К. И. Елагиной, из Москвы от Ивана,— он остается до вторника по делам, от Новаковича[1] из Берлина, от Трутовского[2]. В газетах известий из Крыма нет, и до сих пор еще не напечатано известий о Петропавловске. Зато помещена статья из «Journal de St. Petersbourg», доказывающая, что слух о принятии нами 4 условий должен быть справедлив. Этого позора еще недоставало. Мы заботимся об Австрии, конечно, столько, сколько и она, и боимся сами не менее ее средств, находящихся в наших руках для ее гибели. Конечно, нельзя поверить, чтобы нам была страшна война с нею: вся почти Австрия состоит из племен, готовых быть нам союзниками, и стоит только объявить нам поход на Вену, чтобы венгры, славяне отделились от нее и итальянцы со своей стороны! Чего же мы боимся? Мы, т.е. правительство, боимся разрушения старого порядка вещей. Наше правительство все живет немецкими началами, немецкой политикой; чувствует нераздельное сродство свое со всей системой Австрии, и Нессельроде действует очень сознательно. Он недаром сказал, что правительство наше, будучи самодержавное, не может не поддерживать самодержавных государств, а что поддерживать славян — это значит поддерживать демагогическое начало, что опора нашего правительства есть Австрия, и прибавляет, что он не может нести ответственности за дела нашего министерства, потому что у нас в самодержавном государстве решает сам государь. А кто имеет влияние на государя, как не он! Кто его сбивает, пугает такого рода словами: *демагогическое начало* и тому подобное! Даже в иностранных газетах говорят о том, как государь сам сделал прибавление к ноте Нессельроде от 18 октября, которое придало ей силу, и т. д.— Это видно, что у го-

[1] Стоян Новакович — известный сербский писатель и деятель.

[2] Конст. Алекс. Трутовский — художник-жанрист (1826—1893).

сударя с Нессельроде идет борьба, и, конечно, доказывает бесхарактерность первого, которою последний очень ловко пользуется. Положение наше совершенно отчаянное: не внешние враги нам страшны, но внутренние,— наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные, приносящее в жертву своих личных немецких выгод его душевные стремления, его силы, его кровь. Что еще более приводит в отчаяние,— это наше собственное нравственное бессилие. Обыкновенно человека, уже негодующего на беззаконные поступки, всякое новое противозаконное действие, нарушение прав и т.д., должно возмущать все более и более; но мы, напротив, с каждым новым деспотическим беззаконным поступком, оскорблением своего народа и т.д., мы теряем силу и способность негодовать. Мы недовольны, мы огорчены, но мы парализованы нравственно и неспособны ни на какое изъявление нашего негодования, общественного горя. Мы впадаем тотчас в отчаянное уныние, теряем веру в силу духа и, очень может быть, пропускаем случай — я не говорю — противоборствовать, но, по крайней мере, высказать свое мнение дружно и сильно, так, чтобы невольно заставить его уважать. Может быть, конечно, это бессилие происходит от того, как справедливо думают, что мы оторваны от народа, что до народа и не доходят причины нашего негодования, он не знает и не принимает участия в действиях нашего правительства. Народ было увлекся, предался восторгу в начале войны, когда слова «за веру православную, за единоверных братьев» коснулись до его слуха. Но этот восторг даже возбудил подобные этому выражения: «cet enthousiasme nous embete, hous en avons trop» и т.д., и этот восторг обкатили холодной водой с самым оскорбительным пренебрежением к выразившемуся в нем стремлению, желанию народа; народ, оттолкнутый таким образом, впал в прежнее свое унылое положение, а без народа какая может быть сила в отдельных лицах и даже сословиях? Но долго ли может существовать правительство, действующее враждебным образом против своего народа, следующее системе совершенно противоестественной, это решить трудно, но не может оно существовать всегда на таких противоестественных основах. Это можно сказать, кажется, наверно. И не дай Бог, чтоб пе-

реворот совершился насильственно! Дай Бог, чтобы правительство само поняло и само себя преобразовало. Константин Николаевич понял это и уже начал преобразование в своем кругу действий, но, как Константин справедливо замечает, это-то самое разногласие в самом правительстве и будет причиной раздора.

Письмо от Новаковича оставило приятное впечатление. Какой добродушный славянин! Он просит помолиться за него у преп. Сергия. Надобно непременно исполнить его просьбу.

6 декабря, понедельник. Я не писала целую неделю, было некогда, а писать поздно не хотела, а между тем много интересного если не произошло, то было прочтено у нас в это время. Во вторник 30 ноября воротился Иван, привез нерадостные вести из Москвы, слухи о мире подтвердились. Государь в крайнем расстройстве, даже в истерике. Нессельроде и прусский посланник одни только допускаются. Константин Николаевич сказал Погодину, что наследник теперь одного мнения с ним, т.е. желает войны, а между тем мы принимаем 4 постыдных условия. Погодина просили многие министры написать его взгляд на предметы их управления. Положим, он напишет, и хорошо, но разве будет от этого какая-нибудь польза? Все глубоко огорчаются, но, мне кажется, негодование общее утомилось.— Маменька в этот день ездила крестить к Гилярову, возвратилась только к обеду. Гиляров показался маменьке очень жалок в домашних хлопотах с больной женой, и всегда довольно прихотливой и требовательной. Вечером, уже в 11-м часу, нам сказали: «Приехал Кулиш»[1]. Мы ожидали его с женой, но не так скоро; вышли к нему навстречу. Но он приехал один, жену оставил в Малороссии, за дурными дорогами. Маменька, не ожидавшая с удовольствием посещения его жены, как женщины вовсе незнакомой, была довольна, что он приехал один, а Наденька жалела, потому что желала видеть малороссиянку и слышать малороссийские песни.

[1] П. А. Кулиш собирал в это время материалы для 2-го издания своего «Опыта о Гоголе», которое и появилось в 1856 г. под заглавием «Записки о жизни Гоголя».

Вот уже другая неделя, как живет у нас Кулиш. На другой день его приезда, т.е. среду, провели в разговорах, а с четверга назначили по утрам до обеда занятия, а по вечерам разговоры или чтения. Так и исполняли. Три вечера сряду читал нам Кулиш свой исторический малороссийский роман «Черная рада». Кроме нескольких весьма лишних и цветистых рассуждений о любви, нескольких вовсе ненужных сравнений и отчасти довольно устарелых форм романа, роман этот чрезвычайно интересен и замечателен. Исторические события передаются живо, в полноте всех обстановок; значение казачества, Запорожья, характеры запорожцев выставлены живо и верно, язык удивительно прост, жив и передает весь дух малороссийской речи. Некоторые отдельные характеры прекрасны. Кулишу следовало бы написать целый ряд исторических малороссийских романов, и это было бы настоящее дело, но он говорит, что недостает сил нравственных, что с мыслью о невозможности печатать теряет силы, нужные для такого труда. Между тем по утрам он занимался чтением писем Гоголя к отесеньке и отесенькиных записок (пространных) о Гоголе[1]. Прочтя «Раду», Кулиш приступил к чтению своих записок о Гоголе, т.е. своего опыта биографии, но втрое обогатившегося, после напечатания в журнале, драгоценнейшими сведениями о Гоголе и его письмами. О впечатлении этого чтения не буду говорить покуда, оно даже слишком подавляет душу. О Кулише также поговорю в другое время.

В понедельник из Москвы получено письмо от Томашевского крайне горестного содержания. Мы приняли 4 постыдных условия, и в то время, когда наши враги сами объявляют, что им приходится очень плохо под Севастополем; вероятно, мы и поспешили для того, чтоб вывести их из этого затруднительного положения; ну, как же не сказать, что у нас в министерстве австрийский агент действует? Нессельроде и в прежних своих нотах словами, что не могли мы принять этих условий *quant a la forme*, намекал ясно, что мы их примем в другом случае; вот и приняли, а между тем Ав-

[1] Целиком эти «пространные» записки были напечатаны только в 1890 г. в «Рус. арх.» (кн. 8).

стрия заключает в то же время союз с Англией и Францией, говоря, что это союз для миролюбивых целей; т.е. чтобы нас унизить и обессилить, враги наши считают тогда только мир возможным. Как мы ни стараемся сами об этом, но еще не успели; унижение страшное только в дипломатических бумагах, этого для них мало, и вся наша надежда на них, что они все-таки не согласятся на мир, несмотря на то, что мы приняли эти постыдные условия. Они потребуют, вероятно, того, на что уже не будет никакой возможности согласиться. Впрочем, почему же и нет! После всего того, что было, разве мы не должны ожидать, что завтра же велят срыть Севастополь и сжечь наш флот? От нашего правительства всего станется. Страшно то, что мы как-то обтерпелись и нас уже не так волнуют, не так поражают такие поступки нашего правительства. Что-то будет! Видно, еще далеко не переполнилась чаша испытания русского народа, еще не довольно сильны бедствия и унижения для того, чтобы заставить его говорить, а наше общество чувствует себя так бессильно, что не способно ни на какое единодушное движение. Что-то будет с Русской землей? Страшно будущее!.. Впрочем, кто знает, может быть, все это кончится позорной пошлостью для нас. Стоит им только согласиться на этих условиях с нами, и тогда позор наш никогда не смоется. Впрочем, он падает на одно правительство. Неужели так разыграется эта страшная драма, которая подняла столько мировых вопросов, которой развязка и последствия терялись вдали? Значение и будущность всего человечества и каждого племени в особенности зависели, кажется, от ее окончания, и венцом всего должно было быть торжество веры Христовой, и именно Православия. Неужели все это показалось на минуту для того, чтобы скрыться опять на неопределенное время? Неисповедимы пути Божии, не человеку разрешать их; да не отымет Бог святых судеб своих от нас, за грехи наши! Кстати (особенно теперь) стихи Хомякова; покаяние, очищение, смирение и молитва,— вот что должно было предшествовать святому подвигу, вот почему, конечно, мы не допускаемся как будто до него.

Два дня мы читали записки о Гоголе по вечерам, а потом два дня и утро, и вечер. Впечатление этого чтения трудно пе-

редать, оно подавляло душу. Слова Гоголя поднимают со дна все силы душевные, все ее забытые прекрасные потребности и стремления, подымают вопросы давно забытые, тревожат ее, расширяют ее мир, и трудно совладать со всей этой проснувшейся жизнью. К тому же воспоминание о нем самом, о том голосе, который изустно раздавался между нами и которого не услышим больше, о той силе жизни гения, о той неистощимой любви ко всем и к каждому, которая не давала ему покоя! Письма его преисполнены этой любовью. Какая нежная предупредительная попечительность! Какая свежесть, какая полнота прекрасной жизни в его молодых письмах! Какие драгоценные отрывки нашел Кулиш! Душа перешла через столько впечатлений при этом чтении. Делали некоторые заметки, Кулиш принимал охотно советы, даваемые ему. Странный человек, способный так верно, так тонко видеть и судить и столько же способный впасть в ошибку, а главное, попасть в фальшивую ноту! Чаще всего он употребляет какие-то фигуральные, цветистые выражения, вроде: литературная мантия и т.д., и это очень мешает его местами чрезвычайно верным и даже глубоким замечаниям, всегда полным искренней любви и даже благоговения к Гоголю. Кулиш — человек очень умный, наблюдательный, но какая-то странная путаница в его понятиях о чувствах любви поразила нас и прежде в его повестях, и теперь также в романе его «Черная рада», а особенно в одной его повести, которую он было начал нам читать, но не мог продолжать; он сам почувствовал ее недостатки, ее фальшивый тон более, нежели мы могли ему это высказать; вскочил со стула и сказал: «Нет, я не могу продолжать, я сам почувствовал, как это дурно, фальшиво». Вот что значит читать вслух в большом обществе, в присутствии людей, не довольно знакомых!

В пятницу мы кончили читать записки о Гоголе. Боже мой, как он страдал, какие страшные душевные подвиги, какое неутомимое, неослабное, ежеминутное стремление к Богу, к совершенству, непостижимое почти для нас, обыкновенных людей! Это — святой человек, и все его ошибки и умственные заблуждения разве не происходили из тех же прекрасных источников, и как мало, лишь немногие знали его, но Бог ему награда!

В субботу утром воротился Иван из Москвы. (Он уехал в среду вечером.) Политические известия все хуже и хуже. Говорят, мы на все готовы согласиться; говорят, будто бы государь сказал: «Я не только приму 4 пункта, я приму 44 пункта». Нессельроде едет в Вену. Можно себе представить, что будет на тайных совещаниях, когда и открытые таковы! Но враги все-таки не дадут нам мира. Австрия присоединилась к Англии и Франции, а Пруссия и Германия к Австрии. Государыня, говорят, больна, великие князья приехали из Севастополя в Петербург. Пусть будут они все здоровы и счастливы, да только не погубили бы нас, Россию! Нессельроде в своей депеше к Пруссии пишет: «pour eviter a Allemagne les malheurs de la guerre l'Empereur de Russie est prêt a accepter les 4 bases de la paix» и т.д. Не ругательство ли это над Россией? Иван привез нам «Journal de Francfort».

Накануне приезда Ивана мы кончили чтение записок о Гоголе. Кулиш как-то был довольнее, свободнее; он очень работал по утрам, списывая из черновых бумаг Гоголя, находящихся у нас, Альфреда, отрывок из драмы. Это ему стоило много труда, написано оно чрезвычайно тесно и слепо. Он перебирал все бумаги и книги Гоголя, разобрал кое-что новое, небольшие отрывки, часто состоящие из нескольких только слов, но и в них видны следы его гения. Каждый вечер после чая Кулиш учил Наденьку петь малороссийские песни и сам учился петь славянские и другие. В нем много учительских приемов и какой-то старинный методизм в выражениях, в приемах и даже в мыслях, а между тем слышна под этим страстная натура, которая, впрочем, как кажется, побеждается довольно сильным характером, но странные у него понятия, особенно о некоторых предметах. Мне кажется, это как будто следы впечатлений от Жан-Жака Руссо, о котором он и теперь говорит с таким восхищением. Странно, как же он мог понять так истинно, так глубоко Гоголя, чисто духовного человека, и с таким благоговением предаться ему! В пятницу, особенно вечером, все как-то были очень разговорчивы, но поутру в субботу приехал Иван, привез столько неприятных вестей, которые всех смутили.

Кулиш же просил Ивана нанять лошадей так, чтобы Кулиш мог с теми же лошадьми возвратиться в Москву. Иван

так и сделал, но когда сказал о том Кулишу, тот сказал, что не думал ехать так скоро, что у него еще есть дело, что неужели уже суббота и т.д. Братья, разумеется, сами уговаривали его не спешить и остаться у нас. Извозчик был отпущен, а между тем вдруг после завтрака Кулиш объявил, что он все кончил и что собирается на другой день ехать. Константин уговаривал его отложить отъезд, но он не согласился. Что было причиной его такого изменения своего намерения и быстрого решения — не знаем, но кажется, это не без причины; может быть (так как он человек весьма щекотливый), ему показалось, что он уже слишком долго у нас зажился, что мы несколько тяготимся его пребыванием, желаем его отъезда, но только из учтивости его уговариваем. Он был как-то смущен и как будто расстроен весь этот день, вечером прочел нам письма Гоголя, которые не вошли в биографию. Мы просили его показать нам главы «Мертвых душ» второго тома. Я и Константин прочли первую, нам столько памятную: ее читал нам сам Гоголь; ничто так живо не напомнило нам Гоголя; казалось, он был тут, казалось, мы слышали его голос. Хотя эта глава далеко не в том виде, в каком он нам ее читал, но и в этом она так прекрасна, что снова произвела на нас то же впечатление, впечатление, которое только Гоголь производит; как живо почувствовали, чего мы лишились, чего лишился весь мир: в ком отразится он так, кто его так сознает и передаст! Прежде нам не хотелось, нам было больно и взглянуть на эти оставшиеся черновые страницы, но теперь так захотелось их иметь!

После чая Кулиш предложил Наденьке читать по-малороссийски и подарил ей свою тетрадку выписок из малороссийских песен, потом пелись малороссийские и славянские песни, но немного, и скоро все разошлись.— В воскресенье все утро Кулиш работал до завтрака, списывал разные письма, стихи. После завтрака он сейчас же собрался; видно было, что он взволнован несколько. Простился он со всеми с искренним чувством, он был сильно тронут и благодарил за участие к нему; все простились с ним с самым дружеским чувством и пожелали ему от души доброго успеха его труду.

Он сказал, что на возвратном пути из Петербурга заедет к нам, если что-нибудь необыкновенное его не задержит.

Мне кажется, он не думает заехать... Может быть, впрочем, я ошибаюсь.

Вскоре после отъезда Кулиша собрался и Иван. Он переехал к Троице, чтоб там заняться своим отчетом. Лучше этого он не мог придумать ни для себя, ни для нас. Бог да не оставит его!

Вторник 21 декабря. На прошедшей неделе не было ничего замечательного.

После отъезда Кулиша и Ивана мы, т.е. сестры, принялись за работу для церкви в дальнюю деревню и только в неделю окончили ее. Отесенька и Константин занимались своими занятиями, а маменька говела. По вечерам чтения наши были вовсе не занимательные. Журналы невыносимо пошлы и скучны; повести в них до крайности дрянны; а журналистику решительно нет сил слушать, до того все глупо, пошло, придирки их друг к другу подлы до отвращения. Особенно мы были избалованы неделю перед этим таким глубоко занимательным для нас чтением, как записки о Гоголе, его письма и т.д. — При такой бедности чтения мы вздумали перечесть «Ульяну Терентьевну» Кулиша[1], и она опять произвела на нас то же неприятное впечатление, а в Константине, который читал в первый раз, даже отвращение. — Странный этот человек Кулиш, что за путаница у него в голове разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений! Мне кажется, это плод смешения страстного малороссийского характера с влиянием польской жизни и, главное, Жан-Жак Руссо, про которого он сам сказал, что это был его лучший друг в заточении. Он даже огорчился, что мы напали на безнравственность Руссо, и пробовал его защищать. И сам он, верно, считает такого рода отношения, какие выведены в «Ульяне Терентьевне», самыми чистыми и идеальными. Вот зло такого взгляда, которого, конечно, первоначальным распространителем был Руссо, этот соблазнитель душ, и который до нашего времени действует так пагубно под именами Ж. Санд и т. п. Что за отвратительное смешение чувств, что за утонченная чувственность, которая проникает во все святые чувства и отношения между

---

[1] «История Ульяны Терентьевны» — повесть, напечатанная в III томе «Повестей» П. А. Кулиша. (СПб., 1860).

людьми, и что за нелепость выставить ребенка с такими ощущениями взрослого и т.д.! Надобно отдать справедливость Кулишу, что он способен почувствовать свою ошибку, заблуждение, и почувствовав раз, он, кажется, способен от нее отказаться; силы воли у него на то станет, но не скоро может совершаться такое перерождение, иначе оно было бы не прочно.

В воскресенье (19 декабря) удивлены мы были нежданным манифестом в газетах. Все, особенно отесенька и Константин, прочли его с радостным волнением; они уже радовались тому, что события, как кажется, против воли ведут наше правительство к совершению нашего долга, что от постыдного мира избавят нас сами наши враги, что события сильнее человеческой воли т.д. Но между тем нельзя еще наверное сказать, чего предвестником этот манифест — мира или войны. Он говорит о возможности и того, и другого, и вот почему простые люди в недоумении и не знают, как его понять; но замечательнее всего то, что в манифесте как бы нарочно избегаются слова: за веру, за православных братий; ни одного изречения из священных книг, точно как будто поднято другое знамя, как будто уже не существует первоначальной причины этой войны; и, конечно, государь торжественно в официальной нессельродовской ноте отказался уже от покровительства над православными христианами на Востоке, покровительства, которое непрерывно поддерживали в продолжение нескольких веков так ревностно все цари русские и которое приобретено кровью русских. А теперь православный царь русский предает православие и мучеников за него в руки злейших их врагов, католиков, которые и теперь уже объявили в речи архиепископа Парижского крестовый поход на православие.— Конечно, западные правительства не стали бы теснить чуждое вероисповедание из одного фанатизма, у них для того слишком много равнодушия к вере, но им необходимо истребить православие, потому что это главная, может быть, единственная сильная связь миллионов православных христиан с православным царством русским, связь, придающая нам ужасающую их силу. Духовенство же католическое для своих корыстных целей преобладания через веру, отчасти, может быть, из фанатизма, не пропустит, конечно, тако-

го случая и употребит все средства, допускаемые иезуитством для достижения такой цели. Протестанты со своей стороны наводнят несчастные земли славян, училища, монастыри; лжеучение, безверие, все соблазны Запада, всевозможные притеснения окружат наших несчастных братий, и русские отдадут в этом ответ Богу, но да не допустит Бог до этого! — Я сама слышала, как говорил греческий митрополит, что *католики хуже турок для нас*. Турки убивают тело, а католики душу.

Если Господь и не допустит до такого зла, то все же это факт неизменный, что русский царь отказался от покровительства над православными братьями и предал их в руки католиков и протестантов. И какая это нота Нессельроде! О, эти ноты составят ему страшный памятник в потомстве! Все эти постыдные уступки мы делаем для того, сказано в ноте, чтобы предупредить разделение в германских государствах. В ту минуту, когда Россия гибнет и кровь русская проливается, нас пугает только одно, что целость Германии будет нарушена, между тем как это самое разделение было бы для нас выгодно!!! — Что-то будет! Константин хочет предложить ополчение в Москве и сам хочет идти, но этого не должен он делать. Да и покуда Нессельроде управляет делами, нельзя доверять правительству.

Вчера маменька приобщалась у Троицы и воротилась к обеду. После же обеда поехал Константин в Москву; он написал письмо к князю Оболенскому по поводу манифеста и еще статейку в «Journal de Francfort» по-французски, вряд ли она может быть напечатана.

Сегодня, т.е. 21 декабря, получены письма от Кулиша из Петербурга, от Филиппова, одно из деревни и от Е. Ант. П. Кулиш начинает свое письмо благодарностью, говорит, что пребывание у нас принесет ему душевную пользу. Обращает ко всем какую-то поэтическую фразу, хотя и искреннюю (я в этом уверена), но довольно странную. Между прочим, эта фраза, мне кажется, подтверждает мою догадку, что он не имеет намерения к нам приехать. Он говорит, что каждый из нас сделал на него впечатление, которое только может добрая душа желать произвести на странника, с которым никогда уже не встретится, и т.д. Он описывает ори-

гинальное свое свидание с А. О. Смирновой.— Я очень рада, что он будет читать ей биографию, она сделает ему верные замечания.— Слова Кулиша, что Плетнев расспрашивал его о нас, о наших ежедневных занятиях и т.д., представили нам живо, как картинно и повествовательно (это его манера) рассказывает Кулиш о нас, и вообще сколько толков идет о нас, и большей частью все кривых. И мы не можем еще сами решить, какой образ приняли мы в голове Кулиша. Большей частью люди, самые жаркие поклонники нашей *семьи,* или ее идеализируют до неестественности и даже до смешного, или доводят до такой крайности и до уродливости строгость нашего нравственного взгляда, или превозносят до такой степени наше общее образование, ученость даже, что или другие могут счесть нас за педантов, или, по крайней мере, таких исключительных людей, к которым простой, не слишком образованный человек и подойти не может. Словом сказать, делают из нашей простой жизни (которая слагается сама собой и часто из необходимости обстоятельств) что-то натянутое, неестественное, смешное и даже уродливое. Неужели так трудно понять простоту нашей жизни! Право, это даже часто неприятно; мы живем так потому, что нам так живется, потому что иначе мы не можем жить, у нас нет ничего заранее придуманного, никакого плана заранее рассчитанного, мы не рисуемся сами перед собой в нашей жизни, которая полна истинных, действительных страданий, лишений всякого рода и многих душевных невидимых огорчений. Мы все смотрим на жизнь не мечтательно: жизнь для всех нас имеет строгое, важное значение; всем она является как трудный подвиг, в котором человек не может обойтись без помощи Бога. Всякий добрый человек найдет в нас сочувствие искреннее, и участие добрых людей нам дорого; но мы не нуждаемся в том пустом участии, которое больше похоже на любопытство, и особенно неприятны эти толки о нас от нечего делать, от недостатка интересов в самом обществе. Нам не нужно этой известности и никакой даже, мы ее не добиваемся. В самом удалении из города и посещении нас . . . .[1] Марихен

[1] Конец фразы тщательно вычеркнут.

справедливо и забавно говорит, что нам пора воротиться в город, потому что мы здесь находимся в слишком картинном удалении.

Иван пишет из Троицы, что туда приехал австрийский посланник князь Эстергази, и переводчик его говорил гостиничному монаху, что войны с Австрией не будет. Всего вероятнее, что он говорил это из опасения неприятностей для посланника, если б узнали о войне, и также вероятно, что австрийский посланник приехал посмотреть Москву и Троицу перед выездом из России; впрочем, это все только вероятно, но недостоверно, и, может быть, скоро мы узнаем противное. По крайней мере, по иностранным газетам надобно скорее ожидать мира, потому что они уже объявляют, что император Николай согласился на все 4 уступки sans reserve.— Оказалось, что это не посланник, а какой-то чиновник из посольства.

29 декабря. Сегодня маменька ездила в Хотьково с Марихен к обедне. Там ходит слух, будто Севастополь взят.

29 декабря. Опять некогда было писать.— 23-го числа приехал Константин из Москвы и привез Трушковского, который вчера в ночь уехал, а сегодня к обеду приехали Юрий и Андрей Оболенские[1].

В это время нового ничего особенно замечательного не случилось. Под Севастополем дела все в том же положении. В дипломатии также туго двигаются вперед. Мы соглашаемся на четыре постыдных пункта; враги наши требуют большего. Может быть, правительство наше и еще уступит, потому что оно больше всего боится распадения Австрии, в которой видит подпору своим началам.

В Петербурге (все говорят) так отвратительно, занимаются пустяками — какой-то цитрой, которую ввел в моду лакей баварского посланника; роскошь более, нежели когда-нибудь; бранят государя, но все из каких-то пустых причин.— В Севастополе, говорят, ужасный беспорядок, почта не дохо-

[1] Братья кн. Андрей и Юрий Александровичи Оболенские — большие приятели Аксаковых. Андр. Ал. был очень близок к Ивану Серг. Аксакову и, будучи товарищем председателя Уголовного суда в Ярославле в начале 50-х годов, вместе с Аксаковым работал в Комиссии о беглых, бродягах, пристанодержателях.

дит до раненых, управление в ужасном виде, многие обвиняют сильно Меншикова, против него страшная кабала.

Трушковский привозил нам письма Гоголя к Смирновой и оставшиеся главы «Мертвых душ», 2-го тома. Все эти чтения произвели сильное, глубокое впечатление на всех и возбудили много и много разговоров и толков, над многим заставили глубоко задуматься. Гоголь — святой человек по своему стремлению. Он мог ошибаться как человек; мог запутываться в приложении к житейским обстоятельствам тех святых истин, которым был предан всеми силами души своей, но он возлюбил Бога всем умом своим, всей душой, всеми помышлениями, и ближнего, как самого себя,— больше этого не требуется от человека. Какой святой подвиг вся его жизнь! Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности! Прекрасны его слова к Смирновой о России, как замечательны они теперь! Он верил в светлое будущее России, но путь к нему указывал в настоящем.

Главы «Мертвых душ», особенно последняя, в таком неоконченном виде, что скорее их можно назвать заметками, которые автор набрасывает для самого себя. Но все же, какие чудные задачи и какие места! Одна первая глава довольно окончена, хотя тоже не в том виде, как мы ее слышали от самого Гоголя. Отношения его к Смирновой самые задушевные, дружеские, основанные на духовном стремлении. Трушковский — добрый, неглупый человек, но жалко видеть его бессилие внутреннее, которым столько страдает молодых людей в наше время. Он чтит память дяди всей душой, с благоговением. В настоящее время он посвящает себя собиранию писем Гоголя и приготовлению их к цензуре, а если она разрешит, то немедленно приступит к печатанию. Он также получит разрешение на продолжение печатания Сочинений Гоголя, начатого еще им самим, которое было приостановлено после него из каких-то нелепых опасений. Трушковский очень откровенно признается в дурном влиянии Петербурга, которое он всякий раз испытывает, когда там бывает, и потому решительно не хочет там служить. Вообще он еще не

решился, какое поприще избрать себе; это и точно трудно, когда нет в душе особенного, исключительного стремления к чему-нибудь, предпочтения чего-нибудь. Недостает в нем какой-то активной силы, а между тем он чувствует живо и принимает живое участие в событиях нашего времени. Нельзя не заметить, что он несколько изнежен, избалован, и в этом отношении Малороссия ему очень вредна. Впрочем, он еще очень молод, ему 21 год. Жизнь научит и укрепит. Мы все говорим ему откровенно наше мнение и делаем ему замечания насчет его характера и т.д. Он принимает хорошо все эти нравоучения, хотя я уверена, что они не совсем ему приятны.

Князья Оболенские, Юрий и Андрей, славные люди, доброта и простота у них врожденные, и они оставляют самое приятное впечатление на всех. Они пробыли у нас сутки с лишком и поспешили к своим женам встречать Новый год. Вчера, т.е. 30 декабря, они уехали в 10 часов вечера. К обеду же вчера приехал наш троицкий доктор Брызгалов с женой и с маленьким сыном. Жена его, образованная и очень умная женщина, занимается детьми, но показалась нам, может быть, со слишком твердым характером. Они также уехали поздно вечером. У нас были подблюдные песни, Андрей Оболенский лил воск, жгли бумагу и т.д.

31 декабря. Сегодня я была у обедни, хотелось еще раз услыхать *«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума»*. День мы провели в разных занятиях. Вечером начали читать книгу Попова о русских посольствах[1]. Дождались 12 часов, встретили 1855 год с внутренней мольбой к Богу, да спасет Господь от бедствий, грозящих всем. Да помилует Бог всех нас в этом году!

[1] Попов А. Русское посольство в Польше в 1673—1677 годах. СПб., 1854.

1855 год

1 января, суббота. Мы были почти все у обедни. Молебен на новое лето особенно кстати в настоящее время. Да благословит Господь новое лето, да отвратит свой праведный гнев на нас, да утвердит православную церковь и разорит агарянское царство! Воротясь из Хотькова, мы прочли продолжение «Гимназии» из воспоминаний отесеньки, чрезвычайно интересно и прекрасно передано. Потом стали было продолжать *«Посольства»*, но приехал священник с женой и оставался целый день. В Москве, говорят, ждут уже врагов и поговаривают о том, как бы спасать имущества.

2 января. Сегодня получили множество писем, именно от Гильфердинга, который не наверное обещает приехать к нам из Москвы, куда собирается на месяц; он, между прочим, пишет, что Святославовых дел не дождаться нам, что очень грустно и т.д. От Кулиша письмо в желчном расположении духа; он раздражается тем, что мешают ему читать у Смирновой толпа светских и дипломатических гостей и т.д. Пишет, между прочим, о затруднениях, с какими он попал в Абрамцево, и о своей возвратной поездке; я думаю, что он не приедет к нам. Письмо — от М. Карташевской; говорят, что чума в неприятельском лагере под Севастополем — сохрани Бог. Тургенев возвещает свой приезд 8-го или 9-го. Не очень можно желать его приезда. Известия из деревни самые плохие. Дядя Николай Тимофеевич остается в Симбирске по случаю нового манифеста; видно, они приняли его в воинственном духе, и дядя одушевлен искренним энтузиазмом.

Гильфердинга письмо смутило даже Константина; должно заключить, что будет мир.— Иван уехал в Москву вечером. И для него, и для нас лучше быть врозь.

Января 4-го — день рождения Гриши. Известий с почты особенно никаких, но надобно ждать мира.

5 января. Мы были у обедни и вечерни на водоосвящении. Служили торжественно и благочестиво. «Приидите, приимите духа премудрости, духа разума, духа страха Божия»... Молитва перед освящением воды в этот день, сочельник (накануне Крещения), удивительно хороша.

6 января. Были у обедни, но, к сожалению, опоздали и не слыхали «Елицы во Христа креститеся». После обедни ходили в кельи смотреть на иордан. В одной из келий были со мной две монахини, обе ходившие в Иерусалим; мы разговорились о войне, я объяснила им, что мы отдаем православных под покровительство католиков; они обе понимают как нельзя лучше, что католики хуже турок для православных, и пришли в крайнее удивление и сердечное огорчение при таком известии; одна из них начала молиться, чтобы Господь вразумил государя, чтобы укрепил православную церковь. В этот день получила я письмо от Машеньки; она пишет, что мы принимаем даже истолкования 4 условий; только враги наши будто бы согласились выключить требование об уничтожении Севастополя и флота; но я этому не верю; враги наши не уступят нам этого пункта, а разве только согласились не делать его явным. В 11 часов утра приехал Иван, а за ним должен был вслед явиться Самарин; между тем Константин уехал к Троице, чтобы побывать у Гилярова и Брызгалова. Иван привез подтверждение известия о мире и много разных вестей, и политических, и частных. Говорят, что государь и двор повеселели от надежды на мир. А что за мир — позор и грех! Погодин, говорят, написал очень хорошую автобиографию и упомянул в ней о нас, т.е. об отесеньке в особенности, о братьях и о нашем доме[1]. Хомяков слышал и очень хвалит, но нас это немного смутило. Погодин с самым луч-

[1] Напечатана в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей Московского университета». Об Аксаковых читаем: «В семье А — вых Погодин находил с 1827 г. радушное и дружеское участие во всех его литературных предприятиях».

шим намерением мог написать весьма неловко и неприлично, по крайней мере сделать нас смешными.

К нам собираются много гостей, и даже таких, которые никогда не бывали у нас. Видно, мало занимательного в Москве. Самарин приехал часа в три[1], Константин вслед за ним, пошли тотчас разговоры. Самарин был очень прост, дружествен. После обеда читал свой проект о крепостном праве. Это еще не кончено, но написано очень умно, местами прекрасно выражено, но применения к делу кажутся вовсе неудобоисполнимыми. Это самый затруднительный вопрос, и вряд ли можно его разрешить на бумаге, но необходимо приготовить к этому неизбежному перевороту, а главное, убедить помещиков добровольно на него согласиться. В настоящую минуту это самый главный и важный вопрос. Теперь ясно становится, что покуда народ не получит глаз и ушей, чтоб понимать, что около него и с ним делается, то никакого возрождения Россия ждать не может, а уши и глаза откроются только тогда, когда будет он освобожден от рабства, парализующего его способности, его жизнь и участие. Но Самарин думает его распространять; но это не может пройти даром. Негодование благородного русского дворянства изыщет все средства, чтобы повредить ему. Не дай Бог! После чтения много говорили и толковали.

8 января. Целый день Константин читал Самарину отесенькины записки. Самарин просил убедительно прочесть все, что только было написано без него. Самарин был в совершенном восхищении, особенно от женитьбы Тимофея Степановича. Он сделал очень верное замечание. «Сергей Тимофеевич,— сказал он,— представляя человека, передавая все его впечатления, его сердце, не идет путем разложения и анализа, но сохраняет его в целости, передает его в полноте, как оно есть, а между тем вы видите все подробности, и от этого такая свежесть, цельность, жизнь во всем». Это правда, и совершенно противоположное встречаем мы во всех писателях нашего времени; между ними есть и весьма замечательные и даровитые люди, но все они принадлежат к

[1] Юрий Федорович Самарин.

одному разбору, все аналитики, дагеротиписты, лишающие свой предмет, прежде всего, жизни и души.

После обеда, во время чтения «Гимназии», приехал Мамонов[1]. Мы встретились радушно,— добрый человек и старый знакомый. Мы давно его не видели, и он напомнил нам прежнюю жизнь. Он привез показать свой портрет масляными красками, им же самим написанный. Очень хорошо, но неоконченный, как и все, что он делает. Человек, одаренный разнообразными талантами и неспособный ни одного из них обратить в дело. Продолжали читать «Гимназию» и после чая. Много говорили, толковали, спорили даже и, наконец, простились с Самариным. Они ушли все наверх, и Самарин уехал не прежде 3-го часу. Самарин — человек чрезвычайно умный и высоких достоинств. Жаль, что он слишком занялся теперь хозяйством и начинает отставать от другого рода занятий и окончательно теряет доверие к своим способностям, а он мог бы сделать много полезного в умственном мире.

9 января. Получили «Московские ведомости», и 4 номера газет иностранных. Все подтверждают одно — постыдный мир; уже начались конференции с русским послом. Хотя и ждали его, но удостоверение в нем привело всех в уныние, скорбь, раздражение, почти отчаяние. Но теперь надо бы ожидать, что выместится все унижение, которое было испытано перед иностранными государствами и перед своим собственным народом, над нами за то, что были нам на время развязаны языки, что мы высказали свои советы и желания, и письменно и печатно, которые все теперь служат только обвинениями. За все это как бы не пришлось расплатиться! Иван получил письмо от Смирновой, всех поразившее. Она последнее время писала к нему очень часто, высказывала полное сочувствие и даже говорила, что теперь не время быть осторожной, и вдруг сегодня пишет ему такое письмо: «Милостивый государь! Я вас не знаю, не разделяла никогда и не разделяю ваших убеждений и мыслей. Запад гибнет от гордости и пустословного порицания. Россия спасется сми-

---

[1] Э. А. Дмитриев-Мамонов — талантливый художник, находившийся в постоянном общении со славянофилами. Писал по вопросам славянофильства.



Сергей Тимофеевич Аксаков

рением, любовью и т.д. Служить надобно не фантастической России, а такой, какая она есть» и т.д. Это письмо всех удивило, и после многих толков мы не могли его иначе себе объяснить, как тем, что в настоящую минуту знакомство с такими людьми, как Аксаковы, опасно, и то, о чем она в другое время охотно бы стала рассуждать, теперь вовсе неуместно. По рассказам Ивана, он точно написал ей довольно резкое письмо, отказываясь от хлопот ее и Блудовой за себя в определении на службу, и при этом довольно неосторожно выразился насчет настоящего порядка вещей, но такие письма она привыкла получать, особенно от него, и за два дня перед тем, может быть, оно ее вовсе бы не удивило и не оскорбило; но теперь, под влиянием нового решения при дворе, т.е. решения на мир, она сама быстро перестроила свои убеждения на новый лад и уже оскорбилась, что к ней могли относиться в другом тоне[1]. Придворные люди всегда придворные, и

[1] Письмо Ивана Сергеевича, столь раздраживщее А. О. Смирнову, сохранилось и напечатано (Из писем И. С. Аксакова к А. О. Смирновой // Рус. арх. 1895. III (12). С. 423—480). Оно, действительно, написано очень резко. И. С. решительно отказывался от всяких хлопот о месте для него со стороны самой Смирновой и графини Блудовой. «К вам писал я о своих намерениях так, откровенности ради и из желания знать ваше мнение и советы; но не хлопотать, как бы меня куда пристроить, и не давайте Блудовой хлопотать обо мне». Конец письма содержал резкости по адресу самой Смирновой: «Говорят, Петербург теперь отвратительнее, чем когда-либо, и умеет соглашать свой патриотизм с бо́льшим поклонением Западу, чем прежде... Очень, очень было мне грустно слышать, что ваш дом в Петербурге — дом совершенно петербургский, с баварцами, учащими играть на какой-то балалайке, с какими-то Портали, perofet fille, со всем петербургским тоном и складом. Знаю я, что мнения ваши совершенно противоположны всему этому образу жизни, и тем больнее мне за вас. Это постоянное противоречие должно содержать вас в раздражительном состоянии и возмущать ясность и бодрость духа. Простите, что я написал эти строки: я давно уже перестал признавать себя вправе делать вам какие-либо замечания и упреки; но это не замечание и не упрек, а истинно душевное соболезнование, которым грешно оскорбляться. Прощайте, любезнейшая Александра Осиповна. Я отменил свое намерение ехать в Петербург: лишняя трата времени! 2 января 1855 г.».

Письмо Смирновой от 6 января, содержание которого приведено в дневнике Веры Сергеевны, пока не оглашено. Иван Сергеевич ответил ей следующим резким письмом, после которого их переписка прекратилась до 1863 г.: «Милостивая государыня Александра Осиповна. Письмом вашим от 6 января вы спешите торжественно отречься от всякого сочувствия к моим

связь их с двором так тесна, что их собственные взгляды и убеждения (незаметно, может быть, для них самих) изменяются, расширяются и суживаются, смотря по тому, какой ветер дует на дворцовом флюгере. Как ни умна Смирнова, но она не могла оторваться от зависимости придворной; это уже сделалось другой природой. Как бы то ни было, ее поступок не предвещает ничего доброго.

Письмо от Хлебникова — благодарность за ноты, описывает трогательные доказательства готовности жертвовать бедных людей. Болит русское сердце, говорит он. Девушка моя мне сказывала, что наши крестьяне толкуют о том, что Севастополь велено будет сжечь; один из них сказал: «Это все равно, что мне велят самому сжечь свою избу, потому что враги не смогли ее разрушить». Под Москвой об этом говорят и понимают, в чем дело, но на других концах России и слух о войне заходил только как весть о рекрутстве. Пространна Россия, и народ потерял ведение; откроются ли уши и глаза его когда-нибудь? Получено также письмо от Гриши, у них дети в коклюше. Как это тяжело! Дай Бог, чтобы они скорее оправились.

12 января. Мамонов пробыл у нас три дня и вчера вечером уехал с Константином в Москву. Константин устроил у Самарина празднование юбилея университета по-своему. На публичное празднование они не пойдут: без мундиров не пускают. Они условились собраться нескольким прежним студентам разных курсов и написать каждому о времени своего студенчества и прочесть на этом вечере. Константин написал довольно пространное и очень интересное[1]. Мамонова же подстрекнули; в первый день он прочел нам описание, коротенькое и не дающее никакого понятия о времени. Ему все это заметили и посоветовали пополнить, что он и исполнил

мнениям, чувствам и желаниям. Успокойтесь. Вполне убеждаюсь, что между нами решительно нет, да, вероятно, никогда и не было, ничего общего; я вам глубоко благодарен за то, что вы уничтожили во мне и последнюю тень сомнения. Искренно желаю, чтобы вы своею похвально-своевременной откровенностью вполне достигли предположенной вами цели, и поздравляю вас с надеждами на мир. Ив. Аксаков».

[1] Эти воспоминания К. С. напечатаны в «Дне» за 1862 г., №№ 39 и 40, а также изданы отдельно. СПб.: Кн-во «Огни», 1910.

довольно удачно, и, кажется, сам остался очень доволен своей деятельностью. Они с Константином работали, не переставая, целый день, так что даже он сказал, что он написал бы, если б и не был у нас. Он не только ленив, но внутри него не слышно ничего твердого, прочного, дельного. Если б только нужно было возбудить его деятельность, этого еще бы можно было достичь как-нибудь, но в нем нет внутренней, духовной крепости, которую вряд ли возможно внушить кому-нибудь, и потом, мне кажется, он способен возмечтать слишком: сейчас задает себе такие задачи, которых выполнить ни в коем случае не может, и бросает все. Что за люди!

Сегодня вечером должно быть это студенческое собрание; как-то оно удастся? Константинова статья слишком спешно была написана и потому очень небрежно; он ее не успеет переписать и, верно, будет не разбирать, читая. Газет сегодня не получили, а только два письма от дяди Аркадия Тимофеевича, который приведен в совершенное отчаяние, читая, что пишет «Independance Belge» о России. Анна Степановна приписывает очень мило несколько строк и гораздо него рассудительнее; пишет, что только и разговоров, что о политике. Получили также письмо от Трутовских. Слава богу, у них все хорошо, счастливо; Трутовский занят своей живописью. О политических делах уже мало говорится, уже все бесполезно, чувствуется полное свое бессилие и только ждется что-то неопределенное в далекой дали. Что и когда будет, никто не может знать. Да совершатся святые судьбы Божии над нами!

14 января. Получили сегодня №№ 11 и 13 «Journal de Francfort», а 12-го нет; верно, задержан, так как и 2-й номер; особенного ничего нет. Принятие нами всех 4 условий со всеми их истолкованиями совершенно подтверждается. Английский и французский послы в Вене получили полномочие от их дворов, и кажется, будет мир, потому что мы заранее на все согласны и, вероятно, подпишем все условия; тем более что Пруссия, говорят, присоединилась к трактату 2 декабря, заключенному Австрией с иностранными державами; Сардиния также, и скоро, одна за другой, и все европейские державы то же сделают. А между тем на этих же конференциях объявлено, что военные действия не прекратятся во время переговоров о мире, и иностранные державы посыла-

ют ежедневно подкрепления в Крым; несколько батальонов французской гвардии туда же отправились. Разнесся было слух о нашей победе над турками за Дунаем, будто бы мы разбили 12 тысяч турок и т.д. Но это преувеличено; точно, из корпуса Лидерса был отряжен ген. Ушаков с войском на рекогносцировку на другой берег Дуная, и после небольшого сопротивления турки бежали до Бабадага; наши атаковали Бабадаг, и скоро турки его оставили; у наших всего 1 солдат раненый, а турок 200 с лишком человек убито, 80 пленных. Доказательство, как легко было бы нам завоевать всю Турцию теперь, когда там вовсе нет войск (Омер-паша отправился в Крым), и особенно при содействии болгар и греков. В Москве праздновали 12 января столетие Московского университета. По этому случаю получена грамота от государя, очень умно и хорошо написанная; вероятно, писал Блудов[1]. Если бы мы не знали заранее, что такого рода грамота и тому подобные слова — пустая бумага, мы бы порадовались за такое уважение к науке; но у нас это не имеет никакого значения, и не будет странно, если завтра же обратят университет в корпус. По поводу юбилея приготовлены и еще готовится много ученых трудов. Говорят, все должны быть в мундирах на этом торжестве, и потому многие, в том числе и Константин, не будут участвовать в нем, а хотели сами его праздновать особо, частным образом. Сегодня был у нас сосед наш, Пальчиков, прекрасный, умный человек, очень образованный, благочестивый, с твердыми правилами, но ему недостает чего-то, трудно сказать, чего именно; но он как-то слишком равнодушно относится ко всему, и к науке, и к знакомым, слишком везде следует по правилам.

16 января, воскресенье. Поутру получили мы «Московские ведомости» и 2 номера «Journal de Francfort»... Известий политических особенно никаких, переговоры о мире не подвинулись и все скорее сомневаются в достижении ми-

[1] Грамоту писал А. В. Никитенко. В своем дневнике он пишет: «Грамота государя произвела большой эффект. Все утверждают, что писал я. Разумеется, я везде стараюсь уверить в противном; просил Каткова, Шевырева поддерживать мое отрицание. По крайней мере, не говорили бы во всеуслышание, иначе это может еще обострить мои отношения с министром и А. С. Норовым».

ра. — «Московские ведомости» интересны более описанием юбилея, напечатаны речи и адреса. Слово митрополита, говоренное в университетской церкви, замечательно его особенным красноречием, места некоторые удивительно хороши и по глубине мысли, и по красоте и силе изложения. Все адреса от всех университетов и учебных заведений очень просты и хороши, кроме нескольких, весьма немногих, казенных мест в некоторых из них; во всех отозвалось живое, искреннее сочувствие со всех концов России. Только речь Шевырева невыносимо скучна, пошла и исполнена таких беспрестанных поклонений властям, что невыносимо слушать. В лице его не отличился Московский университет. Можно ли уметь так опошлить всякую мысль и предмет, изо всего сделать шутовство! Что за цветистая речь![1] Мы ее еще не кончили, как приехал из Москвы Константин, слава богу, совершенно довольный своей поездкой. Собственно на акте ни он, ни Самарин не были, отчасти потому, что думали, что без мундиров не будут пускать, отчасти потому, что им как-то не захотелось участвовать на торжестве, в которое вмешалось правительство. Слухи ходили и подтвердились, что вводят батальонное учение в университетах, дают каски и т.д. Но несмотря на казенное вмешательство, это торжество не потеряло своего собственного значения и встретило везде искреннее сочувствие. Все университеты и все училища прислали своих депутатов с адресами (кроме Дерптского, который прислал только адрес). От всех концов съехалось множество всяких лиц, старых студентов и профессоров, для празднования этого дня, и торжество, говорят, удалось как нельзя лучше, потому что было искренно. И Константин, и Самарин очень жалели, что увлеклись каким-то оппозиционным духом, тем более что они не могли успеть побывать и на акте и воротиться вовремя на свой юбилей, в дом Самарина. Их домашний юбилей удался тоже прекрасно. Хомяков был при-

[1] П. А. Кулиш в следующих словах передает отзыв К. С. Аксакова о юбилее: «Шевырев сделал пошлым это торжество, но съехавшиеся со всех концов России воспитанники Московского университета придали ему торжественность и закрыли все шевыревские пошлости». А по поводу литографированного в то время портрета Шевырева К. С., по словам П. А. Кулиша, выразился: «Так похож, что хочется плюнуть».

глашен как гость. Все, кроме Елагиных, приготовили описания своей университетской жизни. Константин заставил Самарина написать в тот же день, и хотя он не успел кончить, но вышло и умно, и живо, и хорошо написано. Князь Черкасский, Стахович также написали; у всякого вышло в своем роде, и все было интересно, живо, так просто и искренно, что все были вполне довольны и как будто помолодели. Погодин приехал среди чтения, и хотя в некоторых описаниях касалось и до него, и в числе отзывов были ему и не очень лестные (впрочем, касающиеся более его слога, неумения писать), но он принял все как нельзя лучше, умилялся и улыбался от удовольствия; в заключение он прочел речь «о Ломоносове», которую не успел прочесть в университете[1]. Все были довольны, во всех пробудилось какое-то одушевление, все почувствовали какую-то связь между собой. Из посторонних был Иван Сергеевич Тургенев и еще человека три. Тургенев — человек, вовсе не принадлежащий к этому кругу, но очень желает примкнуть к нему, потому что отстает от противоположного круга. За ужином предложили тосты за университет и за Москву, заставили Константина прочесть стихи его «Свободное слово», потом стихи Ломоносова, и так разошлись, все очень довольные.

На другой день, получа приглашение на обед университетский, Константин и Самарин решились ехать. Обед был великолепный, обедало 500 человек. Жаль, что американский посол, приехавший нарочно на юбилей и присутствовавший накануне на акте, простудился и не мог быть на обеде. На этом обеде Константин встретил много старых знакомых, которые все ему чрезвычайно обрадовались, обнимались и целовались, по славянскому обычаю. В том числе Милютин, теперь уже генерал, а 23 года тому назад молодой 17-летний мальчик, принимавший участие в литературном обществе, заведенном тогда Константином. Он вспомнил об этом и сказал, что хранит протоколы этого общества. На другой день Константин, заехавши к Грановско-

[1] М. П. Погодин записал в своем дневнике под 12 января: «Вечер у Самарина. Воспоминания студентов. Отзыв обо мне. Прочел им речь. Приятные минуты» (Барсуков Н. П. Жизнь Погодина. XIII. С. 351).

му (который сделал ему перед этим упрек, что он никогда его не видит), согласился у него отобедать, тем более что Милютин должен был там же обедать, но вместо одного Милютина Константин нашел там весь Запад, и не только московский, но и петербургский; так например, издатели журналов петербургских и т.д. Обед этот и все общество оставило крайне неприятное впечатление на Константина; он очень жалел, что на него попал. Между тем в этот день давался обед студентам, и в том числе некоторые профессора и министры присутствовали на нем. Обед, т.е. одушевление, речи, восторг, был необыкновенный; Шевырев, по словам даже его недругов, говорил превосходно. Норов увлекся, выразил искренно свою любовь к университету и студентам, те хотели его даже качать, но он уклонился. Норов целовался, говорят, со студентами. Говорят, была минута, когда многие перекрестились. Что это такое было, трудно понять, но, по свидетельству людей беспристрастных, это было все искренно и просто[1]. В день юбилея Самарин, Константин и множество студентов и профессоров ездили расписаться к Строганову, бывшему попечителю университета, хотя направления западного, но не унижавшему университета, который был почти вынужден правительством оставить эту должность. Строганова не было в Москве, и все это знали, но все хотели, по крайней мере, заявить ему свое одобрение: около дома его была толпа, это была маленькая демонстрация. Впрочем, конечно, Константин не может быть лично благодарен Строганову, который постоянно преследовал его и даже, как уверяют люди знающие, писал на него донос; все проделки с диссертацией Константина были — его дело. Много видел Константин знакомых, и многие сказали ему, что собираются к нам. Константин предложил даже обед американскому послу; эта мысль понравилась, но вскоре увидели, что она неудобоисполнима: начальство или бы запретило, или бы само вмешалось, чего, конечно, никто не желал. У князя Юрия Оболенского Константин читал по просьбе его записку о сво-

[1] Подробности об обедах по случаю юбилея — большом 13 января, и малом со студентами 14-го — в книге Н. П. Барсукова «Жизнь Погодина». XIII. С. 345—350.

ем студенчестве и стихи свои. Там он видел очень хорошенькую девушку, племянницу Оболенского, Евреинову. С Катериной Алекс. Черкасской у Константина был весьма важный и сильный разговор по поводу некоторых выраженных им нравственных взглядов, например, о необходимости руководителя для женщины и т.д. Константин услыхал и узнал в этом то безнравственное начало, которое давно уже нас возмущает и по поводу которого он написал прекрасные стихи *«Лже-дух»*. Это именно утонченная безнравственность нашего времени, которая умела проникнуть во все святые чувства и мысль человека, и как сильно это зло, как незаметно оно вкрадывается под личиной всего прекрасного!

По предложению Константина у Хомякова устроился филологический вечер, который состоял из четырех филологов: Хомякова, Константина, Гильфердинга и Коссовича. Они вдоволь и всласть наговорились о филологии и даже безжалостно продолжали свои разговоры при посторонних посетителях. Чаадаев неожиданно попал на это заседание, посидел, не выдержал и ушел. Позднее собрались туда Самарин и другие и уже поздно разъехались.

25 января, вторник. Опять давно не писала; несколько дней провели мы так шумно, что только теперь отдохнули. Через пять дней после возврата Константина из Москвы приехал перед обедом Тургенев со Щепкиным; его мы ждали, но не ждали Щепкина. Я не хотела даже выходить на это время (я и в первый раз, когда был у нас Тургенев, не выходила из своей комнаты, не имела особенного интереса его видеть)[1]. Мы поехали с Любинькой кататься в деревню; возвращаемся;

[1] Представление Веры Сергеевны о Тургеневе является синтезом тех впечатлений, которые оставил Тургенев в отдельных членах аксаковской семьи, но главным образом оно отражает отношение к Тургеневу Константина Сергеевича. Известно, что и Тургенев не особенно жаловал старшего Аксакова. Любовь к природе и страсть к охоте сближала Тургенева с Сергеем Тимофеевичем, а его отзывы о работах С. Т. сильно располагали С. Т. в его пользу. Да кроме того, в аксаковской семье С. Т. был самым западным человеком. Сближение Тургенева с ним началось в 1850 г. Во время подневольного житья в Спасском Тургенев вел оживленную переписку с С. Т., а после освобождения бывал не раз в Абрамцеве. По смерти С. Т. и К. С. крайнее несходство в убеждениях, наконец, дало себя знать, и сношения И. С. Тургенева с Иваном Аксаковым в начале 60-х годов становятся

кучер нам говорит: «Еще приехали гости», смотрим, от крыльца отъезжает кибитка. Это был Хомяков с Гильфердингами, отцом и сыном. Этих людей я непременно желала видеть и потому вышла в гостиную. Как ни рады мы были все Хомякову и Гильфердингам, но очень жалели, что они съехались вместе с Тургеневым, человеком совершенно противоположным по всем убеждениям. Гильфердинг-отец приехал первый раз к нам; человек весьма почтенный и летами, и достоинствами, с живым участием ко всему, и очень радушный, с учтивостью и приветливостью прежнего времени; он всем очень понравился, хотя и многие его понятия устарели, и он, служа в Министерстве иностранных дел, не позволяет себе резко выражаться о нем, хотя и не защищает его действия. Он, конечно, крайне некрасив лицом, но это безобразие вовсе не противно. Через несколько часов он был у нас как будто давно знакомый.

Тургенев — огромного роста, с высокими плечами, огромной головой, чертами чрезвычайно крупными, волосы почти седые, хотя ему только 35 лет. Вероятно, многие его находят даже красивым, но выражение лица его, особенно глаз, бывает иногда так противно, что с удовольствием можно остановиться на лице отца Гильфердинга. Тургенев мне решительно не понравился, сделал на меня неприятное впечатление. Я с вниманием всматривалась в него и прислушивалась к его словам и вот что могу сказать. Этот человек, кроме того, что не имеющий понятия ни о какой вере, кроме того, что проводил всю жизнь безнравственно и которого понятия загрязнились от такой жизни, это — человек, способный только испытывать физические ощущения; все его впечатления проходят через нервы, духовной стороны предмета он не в состоянии ни понять, ни почувствовать. Духовной, я не говорю в смысле веры, но человек, даже не верующий, или магометанин, способен оторваться на время от земных и материальных впечат-

---

исключительно внешними. Дружба Тургенева с Аксаковыми и история взаимных влияний ждет еще анализа, для которого весь материал собран в их переписке. Письма Тургенева к Аксаковым напечатаны в «Вестнике Европы». 1894. Янв., февр., а письма Аксаковых с примечаниями Л. Н. Майкова напечатаны в «Русском обозрении». 1894. Авг., сент., окт., нояб. и дек.

лений, иной в области мысли, другой под впечатлением изящной красоты в искусстве. Но у Тургенева мысль есть плод его чисто земных ощущений, а о поэзии он сам выразился, что стихи производят на него физическое впечатление, и он, кажется, по тому судит, хороши ли они или нет; и когда он их читает с особенным жаром и одушевлением, этот жар именно передает какое-то внутреннее физическое раздражение, и красоты чистой поэзии, уже нечисты, выходят из его уст. У него есть какие-то стремления к чему-то более деликатному, к какой-то душевности, но не духовному; он весь — человек впечатлений, ощущений, человек, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, какая-то дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огромную фигуру. А Константин начинал думать, что Тургенев сближается с ним, сходится с его взглядами и что совершенно можно отказаться от своего прежнего, но я считаю это решительно невозможным. Хомяков сказал справедливо, что это все равно, что думать, что рыба может жить без воды. Точно, это — его стихия, и только Бог один может совершить противоестественное чудо, которое победит и стихию, но, конечно, не человек. Константин сам, кажется, в этом убеждается и на прощанье пришел в сильное негодование от слов Тургенева, который сказал, что Белинский и его письмо[1], это — вся его религия и т.д. Я уже не говорю о его ошибочных мыслях и безнравственных взглядах, о его гастрономических вкусах в жизни, как справедливо Константин назвал его отношение к жизни, а я говорю только о тех внутренних свойствах души его, о запасе, лежащем на дне всего его внутреннего существа, приобретенном, конечно, такой искаженной и безобразной жизнью и направлением, но сделавшемся уже его второй природой. При таком состоянии, мне кажется, если Бог не сделает над ним чуда и если он не сокрушит сам всего себя, все его стремления и приближения к тому, что он называет добром, только еще более его запутают, и он тогда совершенно оправдает стихи Константина: «Дай Бог, чтоб всем нам прийти к истинному свету».

---

[1] Известное письмо к Гоголю.

И возле этого человека — Хомяков, человек по преимуществу исключительно духовный, не в смысле только его возвышенной, разумной, истинной веры, согретой самым искренним душевным убеждением, не только в смысле его строгой нравственности, но по свойству его натуры, трезвый во всех своих впечатлениях и проявлениях. Необыкновенный человек!

Гильфердинг молодой, ученый всей душой, но несмотря на свою изумительную ученую деятельность, несмотря на исключительность своего направления, он не только человек не односторонний, не сухой, но напротив, принимающий самое живое участие во всех современных вопросах, исполненный самого радушного и безразличного сочувствия ко всем людям; он интересуется жизнью каждого человека, с которым встречается, его занятиями, его впечатлениями, и если только может чем-нибудь со своей стороны быть полезным, удовлетворить каким-нибудь добрым желаниям и потребностям людей, особенно которых уважает, он сейчас же предлагает свои услуги, и от него приятно их принимать. Мы его все очень любим за его общительный характер и давно уже дружески с ним знакомы; он и прежде провел у нас в два раза неделю. Щепкин очень глух, и жалко его видеть в обществе не принимающим участия в разговорах.

Обед прошел живо, и хотя мы не ждали гостей, а достало на всех. Тургенев заранее уже завладел стулом возле отесеньки; трудно даже поверить, что он привязывает к такому пустяку какое-нибудь значение. После обеда, когда вошли мы в гостиную, нас было так много, как будто на рауте в Москве. Начались разные толки и разговоры, иногда общие, иногда частные. Хомяков было думал читать нам свою новую французскую статью о значении православия, католицизма (или, как называет Хомяков, романизма) и протестантизма, но так как тут были бы слушатели, вовсе неспособные понять ее, и так как отесеньке трудно было бы слушать скорое чтение Хомякова по-французски, то чтение не состоялось, и мы, т.е. сестры и Гильфердинг молодой, попросили у Хомякова позволения прочесть ее особо[1].

---

[1] Очевидно, речь идет о вышедшей в 1855 г. на французском языке в Лейпциге статье А. С. Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях».

После чая мы сели особо в залу за стол; Гильфердингу надобно было сверять свою копию с этой статьи, и мы начали читать, то Гильфердинг, то я, вслух. Статья эта необыкновенная; светлый христианский разум, освещающий, как день, все богословские вопросы веры, самая глубокая душевная вера, живящая все разумные доводы и служащая основой и источником всех его взглядов на весь мир, все, что поражает так сильно и заставляет читателя испытать самое высокое наслаждение. Только в некоторых местах вопросы чисто специально богословские для меня не вполне доступны. Мы восхищались каждым словом, каждое слово так полно, так точно, так обдуманно, что удивляешься, каким образом французский язык мог выразить такие глубокие мысли. Мы прочли только половину, в гостиной шумели и говорили, и мы решились оставить чтение до другого дня.

В гостиной шли разговоры о России и русском человеке между Константином, Хомяковым и Тургеневым. Разумеется, с Константином никто вполне не соглашался в его мнении о русском человеке, т.е. крестьянине; вследствие того выходило, что Тургенев с Хомяковым как будто были одного мнения. Константин это и заметил Хомякову, но Хомяков поспешил, даже вопреки учтивости, отречься от того, говоря, что он не одного мнения с Тургеневым и что если б они разговорились далее, то разошлись бы совершенно во взглядах и т.п. Тургенев понял это и сказал: «Константин Сергеевич, в самом деле, хитер, он знал, что его слова помогут ему»,— или что-то в этом роде. Говорят, Тургенев говорил очень умно. Разошлись, я думаю, около часу.

На другой день поутру, только что мы проснулись, нам говорят, что приехали еще гости. Мы думали, что это Стахович[1], который давно собирается к нам и потому только не поехал в одно время с Хомяковым, что узнал, что у нас будет много гостей; но это был не Стахович, а князья Юрий и Андрей Оболенские, добрейшие люди и самые простодушные. Мы им всегда рады и жалели, что среди многих других гостей не успеем ими заняться. Юрий Оболенский знал, что у нас будут гости, но Андрею сказал о том, только подъезжая

[1] М. А. Стахович, автор «Ночного».

к дому, и того это так смутило, что он готов был воротиться. Итак, наше общество прибавилось еще двумя рослыми мужчинами, и в комнатах стало еще теснее. После завтрака, по просьбе всех гостей, Константин читал отесенькины сочинения, именно хронику: «Женитьба дедушки и бабушки». Они были, разумеется, в восхищении, особенно Хомяков и Гильфердинг-отец. Тургенев, хотя и восхищался, но сделал несколько замечаний. Оболенские уже слышали это самое сочинение и говорят, что в другой раз слушали его с большим наслаждением. Перед обедом пошли погулять, сперва Тургенев один, а там и все 10 человек, но скоро воротились, потому что чуть не завязли в снегу. Мы поехали кататься и посадили с собой Гильфердинга молодого. Но ветер был так силен, что катанье не было очень приятно, к тому же лошади наши насилу нас ввезли на гору, и когда мы велели повернуть назад, то совсем было завязли. Внимание исключительное Гильфердинга к Л., начавшееся с первой минуты знакомства и возобновившееся с первой же минуты свиданья, нас очень забавляло, тем более что Л. принимала это внимание очень сурово и даже иногда чуть не грубо. Перед обедом все почти пошли отдохнуть наверх, а Константин с Гильфердингом-сыном воспользовались этим временем, чтобы наговориться о филологии. Оболенские и Щепкин остались внизу, и мы прочли между тем «Театральные сцены» Жихарева, где выведен князь Шаховской на репетиции; написано недурно, но не так, чтобы возбудить общий интерес. Тургенев вскоре сбежал сверху в ужасе от разговоров о филологии, которых был невольным слушателем. Скоро и все сошли и сели за стол, который еще более растянулся в этот день. Обед был очень живой, и часто Тургенев возбуждал общий смех своим отвращением к филологии. После обеда было опять чтение другого отрывка из хроники об М. М. Куроедове. Чтение это возбудило, разумеется, много толков о подобного рода жестоких помещиках и т.д. Тургенев расходился, пришел в неистовство, нервы его раздражились, и он жалел, что Куроедов не был наказан Степаном Михайловичем примерным образом, и т.д. Вечер прошел в разнородных разговорах — и общих, и частных — и толках. Я успела прочесть всю статью Хомякова; Хомяков, поужинав и закурив трубку, располо-

жился, кажется, долго сидеть по своему обыкновению, но в гостиной должны были лечь Рюриковичи, которые всю ночь почти не спали и нуждались в отдыхе[1]. Мы стали прощаться: так как Хомяков и Гильфердинг уезжали рано утром, то я и простилась с ними заранее. Прощаясь с Хомяковым, я сказала, какое наслаждение доставила мне его статья. Хомяков принимает всякое сочувствие и одобрение, даже хоть от малого ребенка, с удовольствием и благодарностью и благодарил меня искренно. В то время как я ему говорила, мы услыхали слова Тургенева, обращенные к маменьке: «Даю вам слово, что в будущее воскресенье пойду в церковь».

Мы переглянулись, я спросила Хомякова: «Какое, вы думаете, произвела бы ваша статья впечатление на Тургенева?»

— Ровно никакого,— сказал он,— т.е. он бы сказал: да это умно, очень хорошо и больше ничего, и следа бы не осталось.

— Да,— отвечала я,— он, кажется, вовсе неспособен ничего понять духовного; однако же есть какие-то стремления, но это не к духовному, а к душевности какой-то. Он все понимает только впечатлениями, чисто даже физическими.

— Да, это правда,— сказал Хомяков,— стихи Константина Сергеевича, которые он мне читал, сильно написаны на него.

Потом мы поговорили о том, как удивительно, что Vinet, разрушая католицизм и протестантизм и чувствуя потребность чего-то другого, какого-то нового жизненного начала в церкви, не только не подозревает, что оно может находиться в православии, но даже не указывает на него, даже не упоминает о нем, как будто его не бывало, а между тем сколько десятков миллионов исповедуют его, и человек ученый, изучивший, конечно, все древнее и новейшее, не знает и не обращает внимания на то, что совершается недалеко от них в виду всех. Удивительно! Даже не находя исхода и утешения на Западе и не видя залогов возрождения в будущем, он указывает на отдаленный несчастный народ и думает в его смирении и детской любви к Богу и детских понятиях найти в

[1] Братья Оболенские.

будущем обновление жизни веры. Бичер-Стоу, замечательная американская писательница, превосходным, особенно полезным романом своим «Uncle Tom»[1], также думает, что из этого народа возникнет истина веры. Хомяков сказал, что ему обидно и больно, что он не знал о Vinet при жизни его, что он, конечно, сошелся бы с ним во взгляде. Конечно, Vinet, сколько мог, понял и предчувствовал православие в возможности[2]. Хомяков обещал нам прислать как можно скорее список статьи; черновую же не может дать потому, что она очень перемарана. Он говорит: «Я сидел за каждым словом подолгу для того, чтоб мои враги — не столько иностранцы, сколько здешние, особенно духовного звания и направления,— не могли придраться ни к одному слову».— Прочтя статью его, чувствуешь силу православия и силу русского ума. Ни то, ни другое не может сокрушиться.

На другой день, еще я не вставала, когда уехали Хомяков и Гильфердинги — отец с сыном к Троице, а оттуда в Москву, и в то же время Тургенев с Щепкиным прямо в Москву. Перед отъездом Тургенев высказал некоторые свои мысли, которые привели в негодование Константина, и он сильно выразил его. Тургенев, прощаясь с маменькой, сказал: «Вы, по крайней мере, не отчаивайтесь во мне, как ваш сын», и повторил обещание быть у обедни в будущее воскресенье. У нас остались два Оболенских, но это такие добрые и простодушные люди, что нам показалось, что мы остались одни, и отдохнули с ними. Но князь Юрий Оболенский очень неловко пустился рассуждать и сам совершенно запутался в своих рассуждениях. Константин попробовал было ему уяснить значение брака как таинства и т.д., но тот остался при том, что после рассуждений он убеждается, что брак не таинство и т.д., и потому лучше не рассуждать. Князь Андрей несравненно умнее и все может понять, прекрасный человек и очень нас любит. Они упросили прочесть Шишкова[3], а после обеда читали *«Год в деревне»* (отрывок из «Гимназии»). Ра-

---

[1] «Хижина дяди Тома».

[2] Александр-Рудольф Вине (1797—1847), известный историк литературы и богослов, бывший во главе движения за независимую церковь.

[3] «Воспоминания об А. С. Шишкове» (в 3-м томе Полн. собр. соч. С. Т. Аксакова).

зумеется, остались очень довольны; уже поздно вечером уехали и они, и мы остались одни.

На другой день принялись все опять за прежние свои занятия. Как обыкновенно водится, часто толковали о посещении гостей, о каждом из них в особенности и т.д.

Сегодня, т.е. *25 января,* получил Иван письмо от князя Юр. Оболенского с уведомлением, что брат его Дмитрий зовет Ивана в Петербург, чтобы переговорить о месте в Астрахани. Иван решился ехать, хотя, по его словам, вряд ли можно ожидать, что он возьмет на себя это место. Константин тоже собирался в Москву, и потому они поедут вместе.

26 января. В деревне у нас очень много больных эпидемическими болезнями. Решились послать за доктором. Брызгалов приехал к обеду, осмотрел больных и нашел, что у всех тиф, что у иных очень легкого, но у других очень дурного свойства, назначил множество лекарств, и надобно было этим заняться. После обеда среди всех этих хлопот приехали Гиляров с женой. Гиляров, расстроенный до крайности, хочет выходить в отставку, между тем средств нет, а тут еще жена больная, причудливая и, должно быть, несносного характера. После их отъезда уехали и братья.

29 января. Константин воротился из Москвы, Иван уехал в Петербург накануне. Константин особенных известий не привез. Видел своих знакомых. Мира, говорят, не будет, и даже, говорят, государь недоволен, что дворянство мало выразило рвения к войне; но какое же может быть рвение, когда в том же манифесте говорится и о мире; впрочем, и дворянство хорошо — глупо, подло, своекорыстно и невежественно. В отсутствие Константина получил отесенька письмо от Кулиша, уже из деревни. Мы знали прежде, что он приехал в деревню, нашел жену очень больною.

В воскресенье, т.е. 30-го числа, получили мы газеты и русские, и иностранные. Министерство разрушилось, Россель вышел в отставку прежде, и все его обвиняют. Состояние английской армии, по их собственному признанию, ужасное; требуют перемены администрации. Вероятно, Пальмерстон будет первым министром. Пруссия и Австрия ссорятся.

Вот и Масленица. Мы проводим ее, как и все дни; разница только в том, что за завтраком каждый день блины.

Воскресенье, 6 февраля. Завтра пост, Масленица прошла и для нас отчасти по-масленичному. Игуменья звала маменьку, Константина и всех на блины. В четверг 3 февраля маменька и другие уже уехали, когда мы получили почту, письмо от М. Карташевской, в котором она пишет, что они уже прочли манифест об ополчении; итак, кажется, наше правительство потеряло надежду на мир. На другой день, 4 февраля, получили мы и сам манифест, и положение — 23 человека с тысячи. Манифест написан ужасно дурно, бестолково и непонятно, и хотя и говорится, что наши цели всегда были — защита прав единоверных братий и христианства на Востоке, и потом опять упоминается о православии, но написан он все же не довольно решительно и чрезвычайно дурно, вероятно, перевод; и опять-таки упоминание о мире. Его никто не поймет, и он вряд ли возбудит сочувствие, а скорее уныние. Уже теперь нельзя поверить, как вначале: доверие потеряно; уже один раз пошли и воротились. Теперь только дело самое может убедить в искренности и решительности намерения. Бог ведет нас против воли нашего правительства. Что Бог даст — Бог не оставит православных! Как обманулись теперь те подлые угодники, которые думали проявлениями желания мира угодить правительству, как, например, особенно казанский адрес — подлее всех. Москва написала самый воинственный адрес, но Закревский его остановил, и Москва только послала самое сухое отношение, что готова на все. Получили письмецо от Ивана, он все рассказы оставляет до свидания.

В субботу, т.е. вчера, у нас была игуменья с внучкой и с некоторыми монахинями, обедали, говорили, занимали их. Внучка очень миленькая, малороссиянка, веселая и грустная вместе, мечтательная, под влиянием беспрестанно меняющихся впечатлений самых причудливых, с натурой поэтической, но полной стольких противоречий и так спутанных понятий, что сама себя не понимает. Теперь она находится еще в стремлении, хотя искреннем, но несколько напряженном, к духовной жизни, к молитве. Но у нас была очень весела, даже шутлива, впрочем, мужчин дичится.

Сегодня, т.е. 6 февраля, с почтой получены московские газеты и иностранный журнал. Нового ничего. Мы знали и

прежде, что Пальмерстон составил уже министерство, итак — война. Пруссия, верно, также скоро соединится с нашими врагами, а за ней и все другие державы. Франция выставит 100-тысячное войско на границы Польши, и если мы еще будем медлить, то, конечно, нам придется очень плохо; но в этом, конечно, мы сами будем виноваты. Константин написал еще письмо к кн. Д. Оболенскому[1] и послал с Иваном. Константин в нем советует как необходимое, единственное средство к нашей собственной обороне, перейти Дунай, взять Константинополь и поднять славян. Письмо написано убедительно, ясно и толково, но вряд ли можно ожидать какой-нибудь пользы от каких бы то ни было писем у нас, да и до государя не доходит ничего. Турция без войск. При первом нашем решительном движении Австрия должна распасться, если мы уверим славян в своем непреклонном решении. Они и теперь, бедные, волнуются; Сербия в движении, и уже у Буоля были переговоры с нашим посланником, кн. Горчаковым. Как бы мы сами не стали их усмирять, чего доброго!

Но вот и пост начинается. В настоящую минуту, в минуту великих мировых событий, всеобщих человеческих страданий и особенно бедствий всякого рода, настоящих и грядущих на нашу страну, настоящий пост должен был бы получить особенно значение покаяния всенародного, очистительного поста за всеобщие народные грехи и частные также, приготовления ко всяким жертвам, подвигам, к великим событиям, в которых ясно совершаются судьбы Божии и которых мы еще теперь не можем вполне обнять. Дай Бог всем провести этот пост так, как должно, в молитве и покаянии, и встретить в радости великий праздник Воскресения Христова.

11 февраля, суббота. Вот и первая неделя поста к концу. Мы провели все это время довольно тихо, ездили в цер-

[1] Князь Дмитрий Александрович Оболенский, член Гос. совета и сенатор (1822—1881), в то время служил по Морскому министерству, был близок к кружку Вел. кн. Елены Павловны. К. С. Аксаков во время Крымской войны писал ему письма о современных событиях, ходившие в то время по рукам. Они будут напечатаны полностью в подготовляемом издании Сочинений К. С. Аксакова.

ковь к мефимонам. На второй день был священник с постной молитвой. В среду сестры, несмотря на ужасную погоду, ездили к Троице. Беспрестанно все кто-нибудь нездоров, отесенька несколько раз чувствовал что-то вроде лихорадки, но тут стало получше, и Константин решился ехать в Москву на чрезвычайное собрание дворян, на которое получили приглашение через станового. Хотя это ополчение не то, что бы оно могло быть, но все же нельзя не принять участия, по крайней мере в выборе начальников, содействовать выбору Ермолова и т.д. Сестры воротились поздно от Троицы. Уже все разошлись по своим комнатам и легли спать, когда приехал Иван. Мы с маменькой его встретили, напоили чаем и часу до третьего сидели с ним, слушая его рассказы. В Москве ожидают Константина к собранию дворян, все хотят выбрать Ермолова, но утвердят ли его? — вот любопытный вопрос. Нового в Петербурге ничего нет. Государь совершенно стоит один, ни с кем из семьи своей не сообщается и действует противу желания даже сыновей своих. Наследник, конечно, не имеет твердых убеждений, но Константин Николаевич совершенно предан русскому направлению. Государь утешается тем, что английская армия погибает, что Непир в речи сказал, что и флот английский также никуда не годится и т.д. Придворные так же, как и семья царская, находясь вне всякого влияния на дела политические и отстраненные государем от всякого вмешательства, ищут себе каких-нибудь развлечений в слухах о том, что делается там-то и там-то, особенно в Москве, особенно между людьми, замечательными по уму и своему направлению. Разумеется, славянофилы больше всего их интересуют, и они почти все знают, что делается между ними. Уже Великая княгиня Елена Павловна знает, что К. Аксаков и Самарин не были на юбилее и т.д., что Иван Сергеевич приехал в Петербург и т.д. Петербург, как Иван говорит, потерял доверие к себе самому, к своей администрации и к силе прежнего порядка и ждет чего-то все из Москвы.— «Ну, довольны вы теперь,— говорили ему, — в манифесте упомянуто об вере и об братьях?» Муравьев М. Н.[1], член Государственного совета, был чрезвы-

[1] Мих. Николаевич Муравьев-Виленский.

чайно любезен с Иваном, жал ему руку и все заговаривал о Москве, но Иван ему все говорил о своем отчете; наконец Муравьев сказал по какому-то поводу о настоящих делах: «Это все идет еще дело *чухонское, петербургское,* от него не будет добра, а вот когда будет дело *русское, московское,* тогда совсем пойдет другое».

В настоящую минуту политических новостей особенных нет. По иностранным журналам видно, что, в самом деле, армия английская под Севастополем в крайнем положении, французы заняли все английские посты, англичан осталось всего тысяч 21, и те наполовину не в состоянии работать. В парламенте громко об этом говорят и не скрывают ужасного положения своего и почти позора Англии. «Times» не щадит выражений, чтоб представить ужасную картину всех бедствий, и не скупится укорами правительству и вообще всей администрации. Самые крепкие основы английского устройства колеблются, нижняя палата громко кричит против аристократических начал, которые все парализуют, не дают хода людям со способностями и т.д. Кажется, Англии угрожает переворот, если не внешний, то внутренний. Как-то она его вынесет, особенно при таких обстоятельствах? Все, чем она так гордилась до сей поры, своим неколебимым устройством, своей силой и могущественностью,— все теперь оказалось несостоятельным; основы ее оказались ложными, и наше время обличило всю ничтожность этого наружного блеска и крепости. Великое явление! Французы пока держатся, хотя и им плохо приходится, и вероятно, и у них лопнет вдруг. Это несвойственное положение Франции, вероятно, кончится также падением. Пьемонт приступил к союзу с Англией и Францией, Австрия также с ними в союзе, теперь только дело за Пруссией, которая требует отдельного союза с Англией и Францией, а не хочет приступить к австрийскому союзу с ними; сперва Франция на это не соглашалась, но теперь, как пишут журналы, она уступила желанию Пруссии, и тогда, конечно, Пруссия будет допущена до конференции о мире в Вене, вероятно, вполне согласится со всеми насчет требований уступок от России; но Россия приняла уже все 4 пункта, даже их истолкования; теперь вопрос только в том, какими именно способами ограничить могущество Рос-

сии на Черном море. Пункт об ограничении вообще сил наших на Черном море уже принят, но подробности исполнения этого условия еще не решены. В ноте Нессельроде просил только, чтобы не стесняли государя *cher lui*.

В Англии Пальмерстон первым министром, но в последних газетах сказано, что и это министерство непрочно и что, может быть, Пальмерстон вынужден будет сделать воззвание к народу. И в Англии и Франции начинают восставать против обнародования частных писем из Севастополя, взывают к patriotisme de discretion. Это немного поздно. Под Севастополем у нас беспрестанные вылазки, которые очень тревожат утомленного неприятеля, измученного снегом, холодом и грязью, попеременно сменяющимися. В Евпаторию все посылают турок, которые должны будут с севера окружить Севастополь; но у нас там войска, говорят, до 130 тысяч. Меншиков, как слышал Иван в Петербурге, не сообщает государю ничего более того, как что печатается в газетах, и почти ничего не отвечает на требования государя, который посылает ему свои распоряжения из Петербурга, требует от него планов его действия. Меншиков отвечает, что когда прогонит французов, тогда отошлет такую-то дивизию и т.д. Иван видел в Петербурге Костича, воротившегося из Сербии. Сербское правительство, расположенное в пользу Австрии, его преследовало, и он с трудом уехал, но народ сербский более, нежели когда-нибудь, предан России и готов избить каждого, кто будет уверять, что Россия приняла 4 пункта. Несчастные славяне не хотят и верить нашему предательству, но Бог, может быть, не попустит нас совершить его. В четверговых газетах помещена прекрасная речь Иннокентия, говоренная им в напутствие болгарам-волонтерам, шедшим из Измаила в Севастополь, которых велено было воротить. Эта речь прекрасна, написана без малейшего подлого выражения, упоминает о долге душевном России к ним, т.е. славянам, возбуждает их уповать непреложно на судьбы Божии и т.д. Такое слово именно было необходимо в настоящую минуту; оно утешит, укрепит веру несчастных славян в сочувствие русских, это просто воззвание. Как у нас позволили напечатать, не можем понять, но у нас все непоследовательно. А Филарет наш молчит, и ни

одного слова сочувствия, утешения или укрепления не вырвалось у него по поводу таких великих событий и бедствий,— удивительно!

Новакович, попавший вместе с Костичем в Сербию, остался там профессором в семинарии в Белграде. Костич, уезжая наскоро из Сербии, захватил с собой его книжку записную, в которой были также записаны по просьбе Новаковича нами самими имена всей нашей семьи. «Когда буду священником или монахом, буду молиться об вас»,— сказал он нам, и мы охотно исполнили его желание. Теперь же эта книга попалась в руки гр. Блудовой, покровительницы Костича, и всем сделалось известно.

Штейнбок прислал Константину бесценный для него подарок. Это превосходно вылепленная группа, разумеется, в маленьких размерах, такого содержания: русский мужик стоит, прислонясь слегка к камню, скрестя руки, и смотрит с совершенно спокойным выражением лица; против него, на некотором расстоянии турок, которого подталкивают с одной стороны француз, а с другой англичанин, турок упирается, хотя и схватился одной рукой за кинжал. Все фигуры сделаны превосходно, сколько жизни и простоты, ни малейшей карикатуры, напротив — все линии так просты и благородны. Мы с наслаждением любуемся этим истинно художественным произведением; жаль, что оно не может быть исполнено в больших размерах. И каково же, государь запретил его!!! Почему и как, даже трудно решить, разве страшна показалась фигура русского человека?

Мы должны были ставить рекрута, предоставили это крестьянам, и жребий пал на человека, которого все же жаль менее других; вдруг получаем известие с дороги, что он бежал, однако ж на другой день его нашли. Вероятно, он и не хотел убежать совсем, а только укрылся на время. Обвинять в этом поступке нельзя, хотя перед своим обществом он виноват; за него должен был бы идти другой.

15 февраля. Вчера приехал из Москвы крестьянин и сказал, что бежавший вряд ли будет принят в рекруты, потому что совершенно изменился в лице. Они думают, что он принял что-нибудь нарочно. Тягостное дело! Сколько горя! Нам прислали из Москвы разных журналов, и мы принялись чи-

тать их. Братья должны были приехать сегодня, но с почтой получили коротенькое письмо от них. Константин пишет, что еще не выбрали губернского начальника ополчения, что он сам не участвует в выборах, потому что не Московской губернии, что во вторник (т.е. сегодня) будут выбирать Ермолова и они, вероятно, останутся там. Иван приписывает, что страшные интриги, что баллотируются Чертков, Трубецкой, Волков[1]. Не можем хорошенько понять, что у них там делается. Завтра, вероятно, они приедут. Но какая подлость подымать интриги против выбора Ермолова, какая дерзость сметь тягаться с ним! Вероятно, впрочем, тут есть интрига полицейская, но хороши наши дворяне, нечего сказать: подлость и своекорыстие — вот их двигатели.— С почты привезли нам № 5 «Journal de Francfort». Интересного и нового ничего в нем нет. Конференции не начинались еще; говорят, Россия расположена к уступкам и к ограничению своей власти на Черном море. Пожалуй, согласятся сжечь флот и разрушить Севастополь. Лорд Джон Россель назначен уполномоченным на Венские конференции. Пруссия все толкует о трактате своем с Францией,— говорят, будто для того, чтоб быть посредницей между Россией и западными державами. Неаполь присоединяется к общему союзу против нас; если это и неправда, то, по крайней мере, очень вероятно, все иностранные державы должны быть в одном союзе против нас, а мы отталкиваем и предаем своих единственных союзников — несчастных православных братий. Сами иностранные журналы не могут скрыть, что из австрийской армии много перебегают к русским, но русские выдают их австрийцам, и потому они теперь должны скитаться в лесах. Возмутительно слышать это, тем более что это, должно быть, справедливо. Ответ дадут в страданиях этих несчастных те, которые должны были их спасти!

Вечером приехал наш деревенский священник с женой; он сказывал нам, что слышал от крестьян, что к назначенному числу ополчения прибавлено еще 17 человек, итак — 40 человек с тысячи. Он удивляется, как они все знают, что пишется в газетах, какое живое участие принимают, и хотя

[1] А. П. Ермолов жил в Москве в опале. Чертков Александр Дмитриевич — московский губернский предводитель дворянства.

судят по-своему, но очень справедливо. Замечательно, что еще в самом начале наших несогласий с иностранными державами крестьяне говорили, что теперь будет время тяжелее 12-го года, что нас хотят окружить со всех сторон, запереть кругом, и на морях,— это было тогда, когда мы сами еще не знали того, и что ж? Все шло точно так. А теперь они нисколько не унывают и не боятся за себя самих и за свою землю; они говорят, что теперь Англия совсем разорится, что у нее последняя королева, что больше ее не будет, а что во Франции государь посадит другого царя, а этого сгонит. У народа и мысли не является о возможности победы над Россией; но они предчувствуют самую продолжительную борьбу. Наш староста говорил своим особенным способом выражаться вроде этого, на объявление ему об ополчении: «что делать, уж это общая беда, мы полагаем, что этим еще и не обойдется, что и еще надобно будет. Если б то есть, мы теперь молитвами каких-нибудь святых людей, и в пых бы разбили Англию и Францию, они, то есть, через несколько лет опять бы собрались на нас, и все будет вражда, еще скорей, то есть, если и мы уступим, то все не уладится» и т.д.

Сейчас прочли несколько превосходных проповедей одесского Иннокентия во время нашествия неприятеля на Одессу с моря. Как хорошо, просто, какое истинно христианское, пасторское слово, как соответствует минутам, в которые оно было говорено! И в каждом он повторяет о братиях, о святом долге стоять за них и т. д. Дай Бог, чтоб он так и продолжал. Наш московский митрополит не сказал ни одного слова по поводу настоящих, столько важных обстоятельств и бедствий, грядущих на Россию.

16 февраля. Ждали утром братьев, но вместо того получили от Константина письмо с крестьянином. Ермолова выбрали, Константин пишет: чудная была минута. Константина уговорили остаться на сегодня, будут баллотировать предложение послать депутацию к Ермолову, после которой он должен явиться на собрание. Это будет удивительная минута. Боимся, что Константин не останется до конца; хочет приехать сегодня после собрания. Прислали ему на подставу лошадей.— Избрание Ермолова — важное событие; утвердят ли его в Петербурге?

Вечером в 9 часов приехал Константин прямо к нам за чай; мы его обступили, с нетерпением желая слышать его рассказ. Вот что он нам сообщил.

В пятницу Константин, приехавши в Москву, отправился к Черткову, потом к Трегубову, нашему уездному предводителю. Этот последний, прочитав отесенькино письмо, сказал, что Константин участвовать в собрании не может, т.е. не может иметь шара, потому что не приписан к Московской губернии. Но Константин скоро узнал, что может присутствовать на собрании. В субботу, в 11 часов, приехали они в дом собрания, сперва пошли на хоры, но скоро знакомые созвали их вниз. Собрались дворяне и губернский предводитель. Губернатор Капнист прочел манифест, его прослушали в совершенном молчании, затем губернатор сказал несколько слов об уверенности государя в усердии дворян и т.д. То же молчание. Тут тотчас Чертков стал приглашать дворян в собор и, таким образом, помешал, может быть, на этот случай невинно, исполниться намерению некоторых тотчас после речи губернатора провозгласить Ермолова как губернского начальника ополчения. Все отправились в собор, наконец возвратились оттуда, и тут Чертков, не допуская еще рассуждений, представил дворянам правила выборов, им составленные с явным намерением не допустить, по крайней мере затруднить выбор Ермолова. Многие это поняли и не согласились с правилами, которые вообще были и несправедливы, и нелепы. Начался спор: многие предложили Ермолова, некоторые говорили, что его нельзя выбирать, что он служит,— другие, что он не примет. Словом сказать, видны были тайные действия низкой интриги, во главе которой стоял Чертков, да, вероятно, и все власти, не желавшие допустить выбора Ермолова. Много шумели и спорили, призывали для разрешения сомнений прокурора — правоведа Ровинского[1]. Тот очень коротко и ясно разрушал приговором закона все козни интриги. Звенигородский уезд (в котором сильно действовал Самарин) предложил единогласно Ермолова, Дмитровский также. Субота, воскресенье прошли в этой борьбе.— В понедельник появилось в собрании письмо Ермолова, писанное в от-

[1] Известный юрист, общественный деятель и знаток искусства.

вет на приглашение Закревского (генерал-губернатора), впрочем, друга Ермолова, отказаться самому от выборов.— Сильное и желчное письмо Ермолова, хотя смутило несколько малодушных, но не помешало тому, что все уезды написали его первым; кандидатом ему назначили графа Строганова. Один уезд записал еще Черткова, и еще один на случай записал Трубецкого. Выборы были отложены до вторника[1]. Вот письмо Ермолова.

На другой день собрались для баллотировки. Константин говорит, что минута была торжественная. Стали разносить шары, и слова: «баллотируется Алексей Петрович Ермолов» сильное произвели впечатление на всех. Все толпой обступили стол; баллотировка кончилась; стали считать шары, все в молчании и в волнении следили за счетом, наконец раздалось: 206 белых, черных 9. Итак, Ермолов выбран! Волнение охватило всех, раздалось в середине «ура» и разразилось во всем собрании, в галереях и на хорах таким одушевленным криком. Лица просветлели, многие плакали, восторг был общий; вдруг раздался голос (князя Мих. Оболенского): «Господа, у Ермолова черных шаров быть не может, они положены по ошибке». По ошибке, по ошибке! — закричали все. И вслед за этим раздалось в толпе: просить, просить, просить! Хотели тотчас отправить депутацию к Ермолову, чтоб просить его приехать в собрание, но и тут низкий Чертков воспрепятствовал, сказав, что это незаконно и т.д. Прокурор сказал, что хотя закона нет, но это в обычае и всегда так делается, когда выбирают купеческих голов, но Чертков решительно не согласился и сказал, что он не поедет вместе с ними и что надобно сперва выбрать и других. Выбаллотировали Строганова: ему положили 137 белых и 76 черных. Чертков решительно воспротивился депутации и предложил баллотировать это намерение на другой день. Неприятно было всем это противодействие, и, говорят, досталось Черткову, но нечего делать, чтоб не испортить дела, на-

[1] Подробности выбора Ермолова и его желчное письмо напечатаны у Н. П. Барсукова «Жизнь М. П. Погодина». XIII. С. 382. Там же приведено и письмо М. П. Погодина, о котором речь идет ниже. В подлиннике в этом месте оставлен пробел для помещения письма А. П. Ермолова к гр. Закревскому.

добно было покориться. Чертков и Трубецкой отказались от баллотировки.

В это самое время ходило в собрании письмо к Ермолову Погодина, после выбора. Константин читал его на хорах вслух дамам, которые не менее были в восторженном настроении. Письмо горячее, но есть и ложка дегтя, говорят. Мы его еще не читали.— На другой день собралось опять в доме собрание; но Чертков принес письмо Ермолова, где тот, благодаря дворянство за выборы, просит отклонить депутацию. Говорят, он ее ожидал в самый день баллотировки, но не ожидал «ура», и, верно, удовлетворившись этим, остерегся повторения другого изъявления. После окончания собрания хотели все отправиться к нему расписаться. Константин предлагал адрес,— вряд ли соберутся.— Иван остался в Москве; не знаем, что-то там делается. Пошло ли представление о выборах, а главное — вот вопрос, который занимает всех: утвердит или нет государь Ермолова? Выбор Ермолова один оживил значение ополчения, которое само по себе не возбуждает почти вовсе сочувствия; все на него смотрят как на удвоенный рекрутский набор, в который включены и дворяне.

Умели опошлить самые высокие минуты, вынуть душу из всякого живого дела, как говорит Константин. И что за ополчение, когда ведутся переговоры и соглашаются на самые унизительные и преступные уступки, потерян уже стыд, уже согласились на ограничение или даже уничтожение нашей власти на Черном море! Горчаков сделал было оговорку, чтоб, по крайней мере, не нарушали «les droits de souverainete de l'Empereur de Russie chez lui», но и эту унизительную оговорку согласились исключить. Чего же ждать после этого, какой может быть энтузиазм при ополчении! Кто поручится, что не велят сдать Севастополь и не отдадут Крыма и проч.? Все тягости войны, все труды и опасности остаются те же и даже с каждым днем увеличиваются, но отнят дух, одушевлявший всех, отнята уверенность в пользе этих трудов и жертв, отнято сознание, что недаром они приносятся, а за святое дело, за веру и братьев, от которых теперь уже отказались, принявши условия. Впрочем, конечно, нам не дадут мира, вероятнее всего, что потребуют таких уступок, на которые даже и наше правительство не может согласиться, а

главное, побоится согласиться. Но и тут чего можно ожидать? Мы будем вести войну оборонительную, стало быть, по свидетельству всех авторитетов, самую невыгодную; боясь перейти за границы свои, мы должны будем с первой же минуты отступить и внести войну в свои пределы. К тому же теперь с каждым днем являются все новые и новые союзники к нашим врагам. Мы выждем, пока все соберутся против нас, пока французы пришлют 100 тысяч в Польшу и подымут ее, пока шведы войдут в Финляндию и т.д. И даже, если бы и тогда Бог помог нам одолеть наших врагов, и тогда наше великодушное, в отношении иностранных держав, правительство первое возобновило бы готовность приступить к миру на тех же условиях, на которые они уже согласились. Какой может быть после этого энтузиазм и дух в несчастных, бесполезных жертвах, в наших войсках? Это возмутительнее всего — видеть неизбежность жертв и не иметь утешения думать, что они приносятся на пользу святого дела.

Воскресенье, 20 февраля. Боже мой, какое страшное неожиданное известие! Мы были поражены, ошеломлены совершенно. Сегодня привезли письма и газеты с почты рано, в то время, как мы собирались к обедне. Прочли сперва за чайным столом в зале письмо от Ивана, и в нем были очень важные известия, Иван сам записался охотником в ополчение, Константин записан между баллотирующимися дворянами, но его выбрать нельзя, потому что он нигде не служил. Ермолов избран также в Петербурге, и к нему прислано было об этом уведомление; он, разумеется, благодарил, но отвечал, что уже выбран в Москве. Получено частное известие, что Ермолов будет утвержден; разнесся слух, что он в такой-то день будет в собрании; все дворяне съехались; однако ж слух оказался ложным. Иван отказался от избрания в дружинные начальники, и на его место — князь Леонид Голицын. Вот что заключало письмо Ивана.[1] Мы не успели еще потолковать о нем, как отесенька или маменька спросили Константина, но где же другое письмо Ивана? Их было два. Константин смутился, замялся, признался, что точно есть, но что он счи-

[1] Это письмо И. С. напечатано. См.: И. С. Аксаков в его письмах. Т. 3, ч. 1. М., 1892. С. 103—104.

тает лучше его не показывать. Разумеется, стали к нему приставать, и он сказал, в нем есть одно известие о Николае Павловиче.— «Каком Николае Павловиче?» — «О государе,— сказал он,— он очень болен».— «Как, что, значит умирает, может быть, умер, не совсем!» — и Константин не решился вдруг выговорить, наконец показал письмо Ивана. Оно начиналось так: «Государь Николай Павлович умер».[1]

Не могу пересказать то впечатление, которое произвели эти слова на всех нас. Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события. Следствия его нескончаемы, неисследимы. Никогда оно не могло иметь такого важного значения, как в настоящую минуту. Чего ждать, что будет, как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли все прежним или даже худшим порядком, или вдруг переменится все направление, вся политика? И, может быть, Бог ведет Россию к исполнению ее святого долга непостижимыми своими путями! Да, на Бога вся надежда, Господь не оставит верующих и молящихся ему, а сколько молятся усердно по всей земле русской! Господь защитит православие и несчастных мучеников.

В сильном волнении, еще не пришедши в себя от поражения и разнородных впечатлений, столпившихся в душе, поехали мы к обедне. И во время обедни не могли мы освободиться вполне от того смутного волнения, и странно нам было слышать обычные возглашения на ектении. Искреннее чувство сожаления как о человеке также наполняло нам душу, и мы помолились внутренно о нем.— Помолились также, да не оставит Господь всех нас, и да совершатся его святые судьбы во спасение всех, да помилует нас от бедствий! В Хотькове мы почти никому не сообщили вполне этого известия, только одной Каломиной, а та священнику Алексею.

Возвратившись из церкви, мы нашли всех в том же тревожном настроении. Начали было читать газеты, но чтение беспрестанно было прерываемо разговорами все об одном и том же предмете; наконец, все согласились, что Константину необходимо ехать немедленно, и он решился также. Велели закладывать лошадей, и в 4 часа перед обедом он выехал, со-

[1] Это письмо И. С. не напечатано в упомянутом издании.

провождаемый благословением отесеньки и маменьки. В самом деле, может быть, теперь единственная минута действовать, новому государю можно многое высказать, написать адрес с изъявлением общих желаний другой политики или что-нибудь в этом роде[1]. Может быть, надобно будет съездить в Петербург? Словом сказать, необходимо Константину быть в Москве и следить за ходом событий. Как жаль, что мы не в Москве; конечно, интереснее времени не может быть в городе следить ежеминутно за возрастающими или изменяющимися событиями; делить с другими все впечатления!.. Живешь общей жизнью, а здесь, получивши такое известие, мы не скоро узнаем его подробности, не увидим и не разделим общего впечатления; не услышим любопытных и умных толков; только толкуем между собой, делаем разные предположения, перевертываем со всех сторон слова, занесенные к нам из общей жизни, и все-таки ничего не узнаем нового. Грустно и больно, что особенно сестры лишены этого интереса. Да и Константин не хочет оставаться спокойным и столько, сколько ему надобно бы было [быть] в Москве. А если б мы были все там, он мог бы принимать ежеминутно участие и даже иметь влияние на других.

Чего мы не передумали и не переговорили в этот день! Какие великие всемирные события, которые подавляют даже душу огромностью своего значения, и что будет, к чему ведет нас Бог? Вечером приехал к нам священник с женой, мы сказали им страшную новость, она всех поражает.— Не верится ей иногда, признаюсь. Право, иногда кажется, уж не подшутил ли кто-нибудь! Ничего эффектнее выдумать нельзя было в настоящую минуту, пожалуй, еще это происки иностранцев. Право, я готова поверить, что это выдумка, хотя надо мной смеются. Вечером читали проповеди Иннокентия, прекрасные, полные истинно пастырской христианской заботы к своему словесному стаду. Потом нарочно для развлечения

[1] Действительно, в первые же дни нового царствования Константин Аксаков написал записку, дошедшую до государя и представлявшую изложение взглядов славянофилов на задачи момента. Записка эта целиком напечатана в «Руси» за 1881 г. №№ 26—28. О ней см. в статьях А. А. Корнилова «Минувшие годы», февраль, и отдельно в его книге «Общественное движение при Александре II». М., 1909. С. 29.

принялись дочитывать дрянную повесть Ольги Н.— Дрянь по исполнению и отвратительная дрянь по той безнравственной среде, к которой она принадлежит, задача которой вся состоит в смешении всех понятий о добре и зле, в затемнении совести и всех мерзостях[1]. Покуда читали, внимание наше довольно было занято, чтоб с негодованием бранить это направление, но как скоро кончили, в ту же минуту разговор обратился на то событие, которое поглощает все интересы в настоящую минуту. Я уверяла, полушутя отчасти, что это все пуф! Не получим ли завтра каких-нибудь подтверждений?

21. И точно подтвердилось все это событие. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. Они привезли ту же весть. В Москве вчера уже все присягнули. На вопрос, какие вести в Москве,— «Царь помер,— отвечал один из них.— Вчера загоняли весь народ в церковь присягать. Все церкви были отворены, казаки разъезжали по всему городу с объявлением и гнали народ в церкви».— «Что же, народ жалеет?» — Крестьянин как-то улыбнулся и сказал «не знаю». В народе ходит слух, что государь был болен ден 20.

Итак, нет сомнения. Сегодня как будто вновь узнали мы эту новость, вполне ей поверили. Неисчислимые последствия этого события стали развиваться перед нашим воображением, в самых разнообразных образах. Беда, если Александр не соединится заодно в направлении и всех намерениях с Константином. Константин имеет сильную народность[2]; он известен везде как русский человек, как христианин, даже раскольники надеются на него. Между ними ходит слух, что он сказал: «Я бы не стал вас притеснять, пусть всякой молится, как хочет!» И к тому же, в народе живет мнение, что только тот законный царь, кто родился от царя, а Александр, говорят они, родился от великого князя. Прежде Александр не разделял вовсе направления и мыслей Константина, и между их приверженцами начинал образовываться довольно сильный дух партии, но с недавних пор, из расчета ли или искренно,

[1] Под псевдонимом Ольги Н. писала Софья Влад. Энгельгардт. Повести ее на тему о любви и семье печатались в 1854 и 1855 гг. в «Отечественных записках».

[2] Т.е. популярность. Речь идет о Вел. кн. Константине Николаевиче.

Александр принял мысли своего брата и вполне разделял его мнения насчет настоящих обстоятельств. Это сказал сам Великий князь Константин Погодину, когда этот последний представлялся ему. «Скажите все это брату, он вполне разделяет мои мысли». Наследник принял очень хорошо Погодина, водил его к жене и пригласил обедать. Просил Погодина прислать ему экземпляр всех его писем. Мы знаем также наверное, что жена его читала письма к Оболенскому брата Константина; говорят, она умная и серьезная женщина, дай-то Бог! Если Александр хочет приобрести народность и избежать разногласия с Константином, он должен действовать заодно. Иначе, чего доброго, сравнение может быть невыгодно и даже опасно! Неужели исполнятся предсказания Константина, которые он начал говорить еще лет 15 тому назад; предсказания соперничества между двумя братьями, не дай Бог!

Сегодня 21 февраля, день памяти дедушки и день памяти Гоголя. Мы ездили с маменькой в Хотьков служить панихиду. Там все уже знали, сегодня были богомольцы из Москвы, которые им сказывали, что видели присягу. Все немного унылы и не знают, чего ждать. Отец Алексей напомнил нам, что так недавно еще смоленские жены чиновников поднесли государыне через архиерея образ Божией Матери Смоленской, прося государыню благословить им наследника на брань, так как он назначен начальником Северной армии, и притом напоминая 12-й год. Императрица и наследник отвечали и благодарили. В самом деле как будто этим образом его благословили на царство и будто Матерь Божия приняла его под свой покров. Священник вполне уповает на защиту Божью.

Возвратились домой часу во втором. Толки о великих событиях, среди которых живем, не перестают. После обеда возвратился староста от Троицы, там сегодня был базар. Народу много, но народ только и говорил об этой нежданной вести, даже об ополчении не говорит. Староста говорит, что все жалеют: «народ как будто что потерял, как будто что ищет». «Жалеют государя, и жалеют очень и наследника; каково ему теперь, т.е. вдруг полным хозяином, и туда надо и сюда, и такое время!» Про государя говорят, что он помер с печали, удар такой сделался, 10-го числа провожал войска с госуда-

рыней, и с тех пор занемог. Все говорят — как бы теперь, вот поедут генералы все из армии государя хоронить, а враг как бы нас т.е. не прикрыл. «Сказывают мужички,— прибавил он,— которые из Москвы приехали, что в церкви Богоявления присягали, а тут какой-то чиновник пришел да и закричал, что вы присягаете Александру, надобно присягать Константину, да раз десять закричал. Его за ноги, т.е. так и вытащили, на съезжую взяли: там, говорят, завтра с ним расправятся».

Мы были поражены; неужели есть уже какие-нибудь смуты, или это просто сумасшедший какой-нибудь или пьяный! Что-то делается, Боже мой! Маменька стала говорить старосте: «Какой вздор выдумали, Александр старший, законный, всегда был наследником». Староста ничего не сказал, но продолжал свои рассказы.— Что-то получим завтра? Томимся неизвестностью. Завтра должно быть письмо от Константина.

От Константина получено несколько строк, подтверждающих, разумеется, события, но без всяких подробностей. Кажется, он еще никого не видел, пишет, что слухов ходит много, будто Меншиков отставлен, и на его место Горчаков, а Лидерс командует Дунайской армией. Пишет, что хорошие вести из Крыма и манифест хорош. Собрание дворянства закрыто. Константин думал приехать сегодня. Саша Погодина[1] пишет подробнее. Отец ее получил описание последних минут государя Н. П. Он скончался в полной памяти. 18-го числа, после полудня, прощался с семьей. Минуты были трогательные; да простит ему Бог все прегрешения!

Посланный наш к Троице привез нам еще новый слух, поразивший всех нас. В Москве, во время присяги или панихиды, упал на Иване Великом большой колокол, продавил алтарь и убил несколько человек[2]. Что за несчастное происшествие и предзнаменование, если это правда! Но все это повторяют, и сомневаться нельзя, кажется. Вероятно, это

[1] Дочь М. П. Погодина.

[2] Упал второй по величине колокол, вылитый при царе Михаиле Федоровиче и называвшийся реутом или в просторечии ревуном.

сделано с намерением, чтобы смутить народ. Боже мой, чего еще мы должны ожидать!

Константин, верно, не выехал сегодня; значит, что-нибудь важное его задержало, он сам нас предупреждает, что, может быть, останется долее, если нужно. Получили иностранные журналы. Нового особенного ничего; кажется, Пруссия скоро присоединится совершенно к общему трактату против нас.

Титов будет заседать вместе с князем Горчаковым на Венской конференции[1]. Не позор ли это — Титов, который по признанию всех был причиной первоначально унижения России и войны против нас. Хороши также разговоры Горчакова с Буолем, в которых первый униженно должен только защищать права droits de Souverainete своего государя, соглашаясь на все другие уступки. От нас, разумеется, требуют, чтобы мы сами уничтожали Севастополь и впредь не смели затевать другого и т.д. Я уверена, право, что Нессельроде, если бы мог, велел бы сдать Севастополь нашим врагам, только чтоб удовлетворить их. Что-то будет теперь? Очень жаль, если на место Меншикова кн. Горчаков; тут ничего доброго ожидать нельзя. Почему, если так, не Остен-Сакен? Сегодня уже у Троицы приносят присягу.

Из Хотькова раздался сильный звон: верно, тоже панихида. Опять мы в неизвестности на неопределенное время. Завтра почты нет.

В Хотькове была не панихида, но молебен о восшествии на престол Александра II и присяга.

Вечером часов в 9 неожиданно приехал Константин. Первый вопрос наш был, правда ли, что упал колокол, правда ли, что закричал кто-то о Константине в церкви Богоявления? «Все, все правда,— отвечал Константин с каким-то смущением и ужасом,— как вы это знаете?» Он рассказал нам подробности, рассказал об ужасном впечатлении, произведенном падением колокола во время присяги. Все смущены, все находятся в напряженном ожидании, что будет далее. События так громадны, присутствие Божией воли так ясно обнаруживается в них, что все подавлены ими, все смиряются перед неисповедимыми путями Святого Промысла, все не-

[1] В. И. Титов был нашим уполномоченным при переговорах о мире.

вольно приходят к сознанию ничтожества человеческого разума и невольно произносят все: «Надобно молиться и молиться». «Бдите и молитеся, да не внидете в напасть» — время наше уразумело эти слова.

Константин нам рассказывал в продолжение всего вечера; и все подробности этих событий так важны, так велики, что под конец мы были совершенно задавлены этими впечатлениями; отесенька и я решительно себя чувствовали расстроенными, мои нервы так были напряжены, что нам захотелось даже отдохнуть. Вчера не в состоянии была уже записать, и было поздно; но вот что рассказал нам Константин. Он приехал в Москву, и Трушковский встретил его со смущенным видом и поразил его рассказом про колокол. Константин поехал отыскивать знакомых. Наконец нашел их собранными у Черкасских, все сидели пораженные и смущенные. Тут ему сообщили подробности о кончине государя: он умер, как истинный христианин.

Общее впечатление таково в нашем кругу. Все говорят о государе Николае Павловиче не только без раздражения, но даже с участием, желая даже извинить его во многом. Но между тем все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к созданию которого почти с отчаянием пришли наконец все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление о нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес. Мир его душе! Он действовал добросовестно по своим убеждениям; за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем. Его система пала вместе с ним; в последнее время она достигла крайности. К новому же государю нашел Константин во всех такое искреннее теплое сочувствие и такое желание восстановить доверие между ним и нами, что даже почти странно было видеть людей, большей частью до тех пор смотревших на власть как на враждебную им силу, привыкших постоянно в продолжение по крайней мере 30 лет не доверять ей и избегать даже с ней сближения. Эти самые люди вдруг с детской доверчивостью и

любовью и надеждой обращаются к новому государю, не получивши от него еще никакого доказательства, которое бы оправдывало их надежды. Эти люди готовы предложить ему руку на союз любви и доверия, готовы предложить ему свою деятельность на благо общее. Они, которые до сих пор так недоверчиво смотрели на всякое даже участие в деятельности государственной, на всякое изъявление сочувствия к державному лицу! Что же это такое, какая тому причина? Государь Александр Николаевич до сих пор мало был известен, ничем не отличился особенно. Даже долгое время разделял совершенно противоположное направление и именно покровительствовал исключительно немцам и стоял особенно за аристократизм. Правда, в последнее время он стал разделять мысли Великого князя Константина и читал письмо Погодина, и сказал ему, что почти со всеми его мнениями согласен, но это еще так недавно, так непрочно. Правда, что всегда было известно, что он очень добр и доступен всем добрым человеческим чувствам. Правда и то, что манифест его о восшествии произвел на всех благое впечатление и возродил надежду, что он, давши обещание «возвести Россию на высшую ступень могущества и силы», не будет продолжать прежней политики. Но все еще эти все причины не довольно сильны, чтоб объяснить эту внезапную искреннюю вполне и разительную перемену, происшедшую в нашем кругу. Справедливо заметил Константин, что эта перемена объясняет, как страшен был тот гнет, который мы испытывали до сих пор, как безвыходно казалось наше положение, как обрадовались мы, когда почувствовали себя облегченными хотя на время, как охотно готовы поверить лучшему.— Но, кроме того, мне кажется, это еще объясняется тем, как в русском человеке вовсе нет безусловной оппозиции власти, нет ненависти к власти потому только, что она власть, но напротив, какую любовь и доверие могла бы внушить разумная и любовная власть, когда только от одной надежды на возможность чего-нибудь подобного так искренне возбудилось сочувствие всех! Хомяков даже написал адрес новому государю, в котором просто и кратко говорит только о сочувствии, о доверии к нему и о готовности стать за него и за отечество, даже не упомянул о вере, потому что в первую минуту не хотел ни о чем ему говорить,

кроме одобрения и сочувствия[1]. «Мужайся, русский царь»,— так начинает он свой адрес, но адрес не был послан, потому что собрания не было. Система постоянной взаимной вражды и недоверия нам противна.— Вот какие светлые чувства и надежды и мольбы к Богу возбудило первое впечатление восшествия на престол государя Александра Николаевича. Господи да оправдаются они! От тебя ждет только помощи земля Русская!

А между тем в народе ходят толки, смущающие всех нас, и в деревнях и в Москве толкуют о том, что царствовать должен Великий князь Константин, а не Александр, потому что Константин *родился в царском роде, а Александр в княжеском,* и эти слова мы слышали от многих крестьян и женщин даже. Странное заключение, которое, впрочем, чисто народное, и даже люди ученые говорят, что во времена уделов таковой порядок наследства был в употреблении. Эти понятия случалось всем не раз слышать от простых людей, то же повторяли и об Александре Павловиче, говоря, что должен [царствовать] Михаил Павлович, и так далее, но никогда не могло быть это так важно, как теперь. Великий князь Константин имеет опасную народность и, сохрани Бог, если новый государь не будет действовать заодно с ним. Теперь же эти слухи так неприятны, даже огорчительны, они могут возбудить недоверие государя к подданным, поставить его во враждебные отношения к народу, к так называемым славянофилам (которых уже теперь считают некоторые виновниками этих толков), всего хуже — могут поселить с самого начала неприязнь и недоверие между государем и братом его, что будет пагубно для России во всех отношениях. Между прочим, приходил к нам разносчик с мелочью и сказывал, что одни хотят Александра, другие Константина; ему говорят: «да ведь Александр старший».— «Да это так,— отвечал он,— но всякий свое говорит, как бы между собой не было разладу». Не дай Бог, это всех страшит. В народе вообще заметно брожение умов; пришло ли время, возбуждено ли было внимание и

[1] В Погодинском архиве сохранился черновик адреса, заключающего приведенную ниже фразу. Черновик писан рукой Ю. Ф. Самарина. См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. XIV. С. 17.

толки настоящими, трудными обстоятельствами,— внезапное, неожиданное такое событие, потрясшее все государство [какая перемена государя на троне!] А может быть, и какие-нибудь агенты иностранных держав, поляки стараются произвести всякое смущение и движение в народе? — Брат Константин ехал в Москве на извозчике и завел с ним разговор: «Слышал ты, что государь скончался?» — «Да, помер»,— отвечал он очень равнодушно.— «Вот теперь новый государь Александр».— «Как Александр,— возразил тот,— мы слышали, что Константин?» — «Отчего же Константин?» — «Он старше»,— отвечал извозчик. Брат Константин стал доказывать ему, что это неправда, но он, видимо, не поверил его словам и только отвечал «как вам угодно, вам лучше знать»,— что-то в этом роде. В другой раз брат Константин ехал на извозчике к Погодину и спросил извозчика, присягал ли он? «Нет»,— сказал тот. «Да ты чей, господский?» — «Господский»,— отвечал извозчик.— «Ну так ты присягать не будешь!» — «Как,— возразил извозчик, оборачиваясь к нему лицом,— как же мы не будем, разве мы не христиане? Вы люди большие, мы против вас люди маленькие, но Бог у нас один, один государь и законы одни». Брат Константин был поражен речью этого крестьянина и, разумеется, выразил ему полное свое согласие с его мнением. На площади в Кремле, говорят, сказал кто-то громко, что Константину должно присягать, потому что он посты держит. Это, вероятно, раскольник. Раскольники ожесточены до крайности невыносимо притеснительными мерами, которые с ними употребляют, особенно с некоторых пор, именно по требованию министра Бибикова. Говорят, новый государь не любит Бибикова и, вероятно, не будет продолжать мер, им принятых. Дай Бог; этому во всех отношениях можно порадоваться. Такие притеснения до добра не могли бы довести, только усиливали фанатизм. Томашевский рассказывал Константину, что один раскольник, взятый в рекруты, в Присутствии бранил самым ожесточенным образом все высшие власти, называл антихристом и т.д. Ни за что не хотел сбрить бороды, не решался идти в ополчение. Разумеется, его схватили и обрили. Теперь не принимают от раскольников капиталов, так что они не могут записаться в купцы, и таким образом поступают в мещан-

ство, которое подчинено рекрутству. Тысяча разных других притеснений раздражают их до крайности; один купец, нам знакомый, велел сказать маменьке (зная, что найдет участие), что им очень плохо, очень тяжело; в другой же раз мы слышали, как один сказал: «Мы подождем еще да и решимся на что-нибудь!»

Падение колокола в Москве произвело сильное смущение в народе. И в самом деле, каким предзнаменованием должно было показаться это происшествие! В самое время присяги новому государю упал колокол в 2000 пудов с Ивана Великого, продавил три этажа и остановился на земле. Несколько человек, говорят, убило, иные говорят, что он упал на алтарь и разломал его.

Как должно смутить это известие нового государя и всех в Петербурге! Очень жаль, что первые минуты царствования могут быть смущены такими предзнаменованиями. Но весьма может быть, что это было дело каких-нибудь злонамеренных людей! Право, это кажется вероятнее; иначе это что-то уж слишком эффектно. В Москве стараются придать сколько возможно доброе истолкование этому происшествию. И точно, говорят, что этот самый колокол упал в 1812 г. перед изгнанием французов; из этого заключают, что и теперь скоро их прогонят.

Говорят, что с 1812 г. этот колокол висел на припаянных углах, которые теперь и отвалились от усердного звона. Константин ходил смотреть в Кремль издали.— Колокола не видать, но видны согнувшиеся балки, на которых он висел.

Иван был во время присяги в Чудове, и когда все вышли оттуда, увидели множество народа на площади, собравшегося около упавшего колокола, тут им сообщили о падении колокола. При присяге были и Ермолов, и Строганов; Ермолов, говорят, грустен и даже плачет. Когда присяга кончилась, все разошлись, только Ермолов и Строганов остались у обедни. Ермолова выбрали еще несколько губерний. Говорят, в Петербурге его выбрали единогласно только тогда, когда узнали, что государь Николай Павлович отвечал на их запрос, что он будет очень рад, если выберут Ермолова. Неизвестно, знал ли государь Николай Павлович о выборе Ермолова в Москве, потому что еще недавно пришел запрос из Петербур-

га, кого выбрала Москва. Это значит, что наш губернский предводитель и Закревский еще до сих пор не посылали о том представления. Какие подлые люди! Неужели дворянство не может отделаться от своего предводителя прежде трехлетия потому только, что оно само его выбрало.

Каково же теперь в такие важные минуты; такой предводитель мешает всем намерениям и движениям московских дворян! Это может иметь очень неприятные следствия, особенно в настоящую минуту! Наши власти останавливают, кажется, как будто нарочно, всякие, даже самые добрые и законные движения в дворянстве. Может быть, кто знает, для того, чтоб все достоинство приписать себе лично! Так, например, получа известие о кончине государя и о восшествии нового, дворянство было еще в собрании и хотело тотчас же написать адрес к новому государю в изъявлении сочувствия к его горю и преданности к нему самому... Что ж, Чертков[1] и тут воспротивился, сказал, что поздно, и распустил собрание. Это был последний день! — Теперь, хотя и пошлется депутация, но адреса не будет, а напишет, что ему вздумается, глупый Чертков или Закревский[2], все это будет нескоро, неискренно или холодно, или подло, и Москву обвинят в оппозиции, а Закревский, пожалуй, еще воспользуется этим случаем, чтоб сказать, что только он сдерживает Москву от худших проявлений и т.д. Не досадно ли это? И пойдет опять та же разладица, то же временное недоверие и недоразумение между государем и Москвой и даже вообще всем народом. Тем более, что государь Александр Николаевич в рескрипте к Закревскому пишет о Москве, называет ее колыбелью своей; как же не откликнуться на эти слова тотчас же? Всем этого искренне хотелось, а вышло так, что Москву обвинят в холодности. Если б нам сменили этого Закревского!

Самарин видел, как в Чудове монастыре прокладывал чиновник дорогу Закревскому и как потом, когда появился Ермолов, все сами собой раздались и дали ему дорогу.

---

[1] Московский губернский предводитель.
[2] Московский генерал-губернатор.

Говорят, лицо Филарета не выражало никакого ощущения; читал он манифест так тихо, что не только слов, но и голоса его не слыхать почти было, присягу читал громче.

Меншиков сменен; не знаем, радоваться ли или печалиться,— нас скорее смутила его отставка. Он сам просился, по болезни, и в самом деле его прежние раны разболелись.

Много было нападок и обвинений против Меншикова; особенно в Петербурге сильное против него негодование и даже партии. Говорят, ужасный беспорядок в армии, особенно насчет больных, провианта; обвиняют его даже в неудаче Инкерманского сражения, зачем он сам не принимал в нем участия! Это приписывают, конечно, не недостатку храбрости, но тому, что этот план сражения был ему прислан из Петербурга, что он был против него и потому не хотел принять в нем участие.— Не знаю, поскольку все это правда, но все же защита города, по собственному признанию врагов наших, производится с неслыханным успехом; вот уже пять месяцев они там стоят и не только не повредили нашим укреплениям, но с каждым днем, и чуть не с каждым часом, возрастают новые и новые. Что будет далее, бог знает, может быть, Меншиков мало виноват даже в успехе защиты Севастополя, но все же при нем все идет хорошо, а что-то будет при другом, неизвестно, тем более что главнокомандующим назначен князь Горчаков с оставлением главнокомандующим и при Южной армии, где теперь командующим остается Лидерс. От Лидерса ожидают все успеха, к тому же он очень расположен к славянам, и его прежний план был идти прямо на Контантинополь.

Американцам еще государь Николай Павлович согласился, наконец, дать контрамарки на крейсерство в наших морях. Англичане, верно, не очень будут этому рады.

Константин на возвратном пути встретил турок или скорее курдов пленных.— Лица выразительные чрезвычайно, идут и едут очень весело. Народ везде обходится с ними очень хорошо. На половине дороги Константин нанял крестьянина. Ему попался славный старик, уже лет под 80, которого семья не хотела даже отпускать. Дорогой он разговорился и тоже повторил все толки о Великом князе Константине Николаевиче, что ему надобно царствовать, потому что Алек-

сандр в княженецком роде, а Константин в царском роде рожден. Толковал о войске, об англичанке, так он называет королеву, вообще об иностранцах, что итальянцы не страшны, но что *«англичанам Бог всякие премудрости открыл»*, и прибавил потом: *«а наша земля хлебом прославлена»*. Вообще слова старика выражали благодушие, сочувствие к каждому человеку, столько свойственное русскому. Константин, разумеется, всегда счастлив, когда что-нибудь слышит из уст народа, и на этот раз был очень доволен.

Гриша нам описывал недавно тоже один умилительный случай. В Симбирске один целовальник получил письмо от брата своего из Севастополя; в это время собралось много крестьян и просили его прочесть вслух письмо, целовальник прочел; в нем, кроме обыкновенных приветствий, заключалась просьба писать, а для того, чтоб письмо дошло вернее, просил приложить целковый. Все были тронуты. «Что ему с целковым делать, держи-ка шапку»,— сказали крестьяне и набросали тут же 75 целковых.

В четверг, т.е. 24 февраля, обедал у нас Гиляров, приехал более расстроенный и физически и нравственно, нежели когда-нибудь, просил Константина рассказать все подробности, начиная с выборов Ермолова и до последних великих событий. Константин исполнил его просьбу.

Гиляров под конец оживился. Его очень притесняют, сверх обычного гнета духовного управления, и он нам показывал тетрадь с помарками и замечаниями Филарета; всякое живое слово, всякая мысль, сколько-нибудь носящая личный взгляд человека, уже подвергается осуждению и т.д. Филарет — совершенный государь Николай Павлович, та же система, и то же убеждение, и та же сила воли. Человек гениальный, но в каких тесных рамках! что мог бы он сделать, если б не следовал этой системе!

25-е. В пятницу получила я письмо от Маши Карташевской из Петербурга. Они там так же поражены, как и мы, и огорчены чрезвычайно; между тем, несмотря на горесть общую (пишет Машенька), новый государь возбудил самое благоприятное впечатление и надежды своими словами к разным сословиям, которые принимал.

Сапун-гора, пункт чрезвычайно важный, занята нами, французы сделали на нее нападение, но были отбиты с большим успехом. Зато перед этим наше нападение на Евпаторию было очень неудачно, и мы потеряли из строя 500 человек. Говорят, это известие очень огорчило государя Николая Павловича. Мы дождались, что в Евпатории теперь уже 40 тысяч турок, и дождемся, пока там с французами будет 60 тысяч. Мы очень боимся, чтобы враги наши с отчаяния не нанесли нам большого вреда и, пожалуй, чего доброго, не разбили бы нас. Впрочем, Остен-Сакена все очень хвалят, и армии им очень довольны.

В воскресенье ждали Ивана, но он не приехал. В газетах еще ничего особенного. В иностранных известиях напечатана прекрасная статья, в которой изложены последние минуты государя Николая Павловича. Статья составлена прекрасно, со всей простотой, истиной и скромностью, нельзя читать без сердечного умиления и участия. Как хорошо, что обнародовали все эти подробности. Тут является царь и его семья как простые люди со стороны их человеческих чувств и страданий. Умилительная христианская кончина, какое примирительное и благотворное будет она иметь влияние на всех. Всякий от души помолится за него. Прекрасны и вполне истинны слова, сказанные в конце статьи о Николае Павловиче, что он...[1] И это такая истина, что всякий по совести и с радостью готов ее подтвердить; а что если бы сказали лесть, какое вдруг она бы внушила противоречие и негодование, которое отразилось бы на лице, к которому бы она относилась, и помешала бы отдать ему должную справедливость. Никакими враждебными и насильственными мерами не заставили бы признать достоинства государя Николая Павловича, не возбудили бы такого искреннего сочувствия к нему и молитвами о нем, как теперь этими простыми словами, полными истины и скромности. О, как легко достигается часто путем любви, правды, доверия то, о чем с таким трудом, насильством и враждебной недоверчивостью *напрасно* хлопочут. Дай Бог, чтоб наш новый государь, начавши так, так и продолжал, тогда ему сами собой не нужны сделаются всякие внешние ог-

[1] В оригинале пробел в 1 1/2 строки.

раждения, запреты, жандармы и т.д. Дай Бог! По крайней мере, он не раз выражал и прежде свое мнение о необходимости публичности в делах, о необходимости общественного мнения как единственного контроля и поверки для монархического правления. Говорят, на другой день своего царствования он, при приеме министров, принял Великого князя Константина Николаевича уже как император и сказал ему: «Я должен благодарить вас за вашу неусыпную деятельность в вашей службе и прошу всех министров брать с вас пример и ввести ту же публичность в своих делах». Все это нас радует. Говорят, нельзя узнать в новом императоре прежнего великого князя, держит себя совсем иначе. Конечно, положение так высоко и важно, что немудрено перемениться. Разумеется, замечают теперь всякую безделицу, с кем он как поцеловался, на кого как взглянул и т.д.

28 февраля. Сегодня утром приехал Иван. Особенных важных вестей нет, но мелких много. До сих пор о мыслях нового государя насчет внешней политики никто еще ничего не знает, кроме того, что он сказал дворянам или купцам: «Будьте уверены, что я не выдам честь России» и так же отвечал австрийскому послу на его слова, что все, зная его доброту, радуются его восшествию. «Мне очень лестно такое мнение,— отвечал государь,— но это не помешает мне исполнить долг мой в отношении России». Говорят, он не хотел поцеловать Клейнмихеля, но тот сам бросился его обнимать и потом, встретивши его во дворце в коридоре, пустился очень красноречиво и горячо выражать государю свою горесть. Тот сказал: «Для такой тяжелой минуты ваша горесть слишком шумна». Все это очень хорошо и радует. Что Бог даст дальше? Государыня Марья Александровна, говорят, больше молчит и только повторяет: «j'ai peur». Великость сана, страшная ответственность, которая с ним сопряжена, и трудность исполнения своего долга особенно в настоящую минуту, конечно, не может не страшить умного человека. Говорят, будто начинаются уже интриги при дворе.

Вышли рескрипты,— Меншикову очень холодный. Впрочем, новый государь отклоняет от себя его отставку. Два рескрипта,— один Ростовцеву,— другой Витовтову при пожаловании табакерки ничего в себе не заключают, но, как заме-

чают, эти первые пожалования нового государя указывают на значение, которое эти люди будут иметь в новом царствовании. Одна бумага неприятно подействовала и огорчила даже многих,— это приказ по войскам. Впрочем, новый государь прямо говорит, что государь Николай Павлович завещал передать эти слова от него войскам, в которых он *благодарит их за спасение России в 1825 г.* Как не вовремя было напоминать в настоящую минуту об этом времени, об этой несчастной эпохе! И какое спасение, и от чего? 14 декабря бунтовала разве Россия? Бунтовали только несколько полков той же самой гвардии. Россия была чужда этой несчастной и, конечно, безрассудной попытке. Но эти слова особенно еще замечательны, потому что бросают свет на самого Николая Павловича, на его понимание этого несчастного происшествия, на то впечатление, которое сохранил он в продолжение всего своего царствования, так что в последние минуты свои он ни с каким другим словом не обратился к своему народу[1], как только с благодарностью к войску за подавление восстания, которое он, по всему видно, приписывал всему народу. Вероятно, это событие имело пагубное влияние на все его царствование. В «Journal de Francfort» объявлено об известии о кончине русского государя, но еще подробностей впечатления, произведенного этой вестью, не сообщено. В «Московских ведомостях» есть уже известие, что австрийский император, в воспоминание услуг или благодеяний императора Николая I, оставляет имя его в одном из полков. Траур везде наложен на 4 недели. Как любопытно знать подробно то впечатление, которое произведет манифест нового государя, как они его примут!

6 марта. Нового до сих пор мало, по крайней мере у нас ничего не известно. 27 февраля был вынос при самой торжественной печальной церемонии, а вчера или сегодня должны быть похороны. Все ожидают, что по отдании последнего долга государю Николаю Павловичу сын его займется деятельно решением великого вопроса. Что-то будет? — ожидание всех так напряжено. Стараются отгадать заранее, и по самым малейшим признакам заключить вперед о будущих действиях.

[1] Между строк написано: «он не сказал ни слова».

Так, например, пишет А. О. Смирнова к княжне Цициановой, что перед выносом приехал принц австрийский Вильгельм. Государь Александр Николаевич заставил его прождать себя долго в общей приемной зале и потом, проходя мимо него, подал ему только руку, сказав: *«Je descends pour accompayner le corps de mon pere»*. После этого принц должен был наравне с другими принцами в мундире пройти пешком верст 6. Английские и французские журналы, говорят, бранят покойного государя. А. О. Смирнова пишет также, что государь Александр Николаевич говорит и действует без отдыха. Много рассказывают про прием министров, но про Нессельроде никто ни слова; не знаю, как это растолковать: может быть, он сказывается больным и не показывается более. Великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич не поспели к выносу, они проскакали Москвой только 28-го числа. Кажется, слава богу, все толки и смущения первой минуты при восшествии нового государя улеглись.— Из Москвы пишут к Ивану, как слухи, что Ермолов утвержден, что генерал-адъютант, повезший манифест государя Александра Николаевича в Сибирь, везет также и прощение всем сосланным. Адрес калужский первый не послан; предводитель дворянства Унковский написал другой от себя. В «Московских ведомостях» напечатан прекрасный адрес из Грузии по поводу еще манифеста об ополчении. Вот два было случая, по поводу которых отовсюду были поданы голоса, только одна Москва молчит и благодаря ее начальникам не отозвалась даже новому государю на слова, обращенные к ней именно как к *колыбели его*... Это несносно. Конечно, дворянство само виновато: если бы оно захотело настоятельно, не смел бы противиться губернский предводитель, да и Закревский не имел бы возможности остановить желание дворян выразить свою преданность новому государю. Право, это так досадно и обидно: Москве зажали рот, да и говорят, вероятно, на нее все, что вздумают.

Не знаю, правда ли, что и прежде Закревский, как мы слышали, доносил, что он только удерживает Москву от всяких смут и т.п. Хорошо, если бы нас освободили от него, он такой гнет наложил на все сословия в Москве, что никто не решается даже на то, что было бы позволено. Ермолов продолжает получать избрания из всех губерний.— Что-то бу-

дет? — вот вопрос, который беспрестанно вертится в голове. Если новый государь будет заодно действовать с Великим князем Константином Николаевичем, можно ожидать много доброго. Мы не перестаем восхищаться распоряжениями последнего. Получили № 2 «Московского сборника» и с наслаждением читаем все статьи в нем, даже все хозяйственные распоряжения; во всем слышится правда, свобода мысли, откровенность, полная доверия; дышится отраднее, точно читаешь о чужом государстве; и как такое направление быстро принесло успех, вызвало жизнь, благородное рвение на пользу общую, привлекало к деятельности прекрасных честных людей, как благотворно оно воспитывает всех своим влиянием! Слава богу, это радостное великое явление. Да поможет Бог всем добрым деятелям на пользу общую! Замечательная статья директора Комиссариатского департамента кн. Оболенского (отчет о действиях), статья Шестакова о действиях флота с начала войны, тут высказаны смело и откровенно все невыгоды *угнетательной системы* в применении ее в отношениях начальников морских к их подчиненным, и все значение и польза нравственных причин, двигающих людьми в исполнении их обязанностей и т.д. Словом сказать, если б та же система и с тем же рвением была употреблена по всем министерствам, осталось бы только благодарить Бога. Это такого рода направление, которое есть ключ ко всем прекрасным преобразованиям. Взывается ко всем за советом, выслушивается со вниманием всякое замечание, жалоба, отдается все на общий суд. Тут со временем, конечно, могут сказаться все народные потребности, и дух народный сам собой выскажется и выработает свое.

Маменька с Наденькой поехали к Троице, что-то привезут нам? Должны быть, по крайней мере, «Московские ведомости» и иностранные журналы, которых мы вовсе не получали на последней почте. Боимся, уж не задержаны ли они? В последних газетах из «Одесского вестника» перепечатано несколько слов о наших действиях при осаде Севастополя. По тону уже слышно, что это писано при Остен-Сакене и под его влиянием: «Благодаря Бога прежде всего за успехи наших действий...», горячо отдается справедливость необык-

новенным заслугам Тотлебена и Мельникова, последний прозван Обер-Крот, потому что уже 3 месяца проводит под землей. Наши работы минеров были очень удачны. Иностранцы пишут, что русским уже нечего производить новые укрепления, что они теперь занимаются только украшением их и что в самом деле они превосходны. Что-то теперь там делается! Да поможет Бог! Теперь, кроме обычной молитвы за обедней о победе наших войск, еще определено каждый воскресный день служить большой молебен с коленопреклонением о покорении врагов. Не знаем, что делается в Москве, поехал ли Погодин в Петербург, он непременно должен был бы ехать, тем более что кн. Оболенский дал ему знать, что ему хорошо было бы быть там[1].

Маменька приехала уже поздно, привезла газеты московские, «Journal de Francfort» один номер, да одно «Supplement», видно, номер задержан. Письма получены от Трутовских два. Слава богу, у них все хорошо, он не выбран в ополчение, его оставили дома, и они теперь спокойны. Все поражены известием о кончине государя. Письмо от Машеньки Карташевской особенных известий в себе не заключает, пишет только, что слова и речи государя Александра Николаевича приводят всех в восхищение. Что во время печальной церемонии выноса народ на улицах, по которым проезжала процессия, бросился на колени, и государь был так тронут, что написал собственноручно рескрипт, в котором благодарит всех жителей за участие в его горе, и т.д. Ермолов утвержден за Москвой, он, говорят, теперь в Петербурге. А Филарет не поехал, все ждал, чтобы его вызвали, а сам не спросил позволения.

Кажется, он бы и без позволения мог съездить поклониться праху своего государя. Но это все — формальность, которую Филарет так уважает. Вообще раздумье какое-то убивает всякое живое движение в людях. Получено также письмо от Елены Антоновны; их горесть и соболезнование о покойном государе переходят всякие меры; такого увлечения много в некоторых кружках; они жалеют, что не поднесли

[1] М. П. Погодин не нашел нужным или возможным съездить в Петербург в начале нового царствования. См. об этом дальше.

ему при жизни названия Мудрого и Правдивого, последнее скорее бы шло к нему. Пишет также, что падение колокола народ толкует и таким образом, что государь Николай Павлович был все время несчастлив и что теперь с ним вместе рухнулось и его несчастье и т.д. Говорят, во время процессии государь Александр Николаевич шел без шинели, но ученикам всем велел надеть шинель.

В «Московских ведомостях» напечатан недурной адрес петербургского дворянства, еще к Николаю Павловичу, по поводу ополчения, и ответ на него уже от государя Александра. Дворянство петербургское упомянуло о православных братиях и...[1] Государь в ответ не повторил этих слов и сказал, что...[2] Намеренно ли он умолчал о православных и единоверных братьях, или случайно,— бог знает, но мне что-то начинает казаться, что он избегает этого предмета. Он говорит везде о чести и могуществе России, но нигде, кажется, еще не сказал ни слова о защите православия и единоверных братьев. Уже не эту ли он дал клятву отцу своему: не вмешиваться в дела славян. Но судьбы Божии сильнее намерений человека!

Да совершатся Божьи судьбы! — Дворянство петербургское присылало депутацию поздравить нового государя. В газетах напечатана речь его к ним. Речь прекрасна, нам всем понравилась. Видно, что он говорил ее, не приготовясь; проста, скромна, согрета чувством; в ней замечательны особенно слова: «Я всегда говорил родителю моему»... видно ясно, что государь Н. П. сомневался и смущался; а потом окончательные его слова, когда он, перекрестясь, сказал: «Господь нам поможет, не посрамим земли Русския».— Такие слова говорятся перед бранью, и, видно, он на нее решился. Да поможет ему Бог!

Что делается в западном мире, понять нельзя и не знаешь, *чего* ожидать. Наполеон, кажется, зазнался совершенно, он велит сказать Англии, чтоб у них не было enquete (следственной комиссии), которая чуть ли уже не началась, иначе армия французская и английская не могут действовать

[1] Пропуск в оригинале.
[2] Пропуск в оригинале.



Ольга Семеновна Аксакова

соединенно! Англичане хотели сделать ее секретной, но это предложение не было принято. Говорят, теперь будет распущен парламент во избежание затруднительного положения. Каково же Луи Наполеон вертит Англией, которая до сих пор не признавала никого себе равным!

Положение Англии должно быть отчаянное, она совершенно растерялась и сильно желает мира, не знает только, как выпутаться с честью из затруднительного положения. Франция, кажется, представляется ей чуть не идеалом государственного устройства, и в парламенте часто представляют, как пример для подражания, Францию.— Луи Наполеон точно может гордиться своим влиянием на всю Европу, в Испании он удерживает революционные партии, в Риме все делается по его желанию... Уж и это не по его ли проискам делается, что Порта вдруг отказывается принять помощь сардинцев, если они не войдут в состав союзных войск и если пьемонтский генерал будет иметь свой голос на военном совете.

Положение Пьемонта тоже довольно странно. Заключили союз против России, которая уже объявила им войну, а между тем их не пускают в Крым.— Австрия тоже что-то не сладит с Францией по поводу намерений Луи Наполеона ехать в Крым. Австрийцы боятся, чтобы в отсутствие Наполеона чего-нибудь не затеялось во Франции.— Пруссия еще все толкует и не приступала еще к трактату.

У Троицы маменька слышала, будто бы проехал курьер с известием, что дерутся в Севастополе. Это сильное сделало впечатление, особенно что узнали перед молебном о победе. Антоний, говорят, читал прекрасно молитву, и все почти плакали. Елена Антоновна тоже пишет, что слышали, что штурм начался.

8 марта 1855. Сегодня получено несколько писем, четыре номера иностранных журналов; два из них, видимо, были задержаны, и во многих, самых интересных местах, вытерто; досадно. В этих журналах уже начинают говорить более подробно об этом событии и вообще о предполагаемых следствиях его, о характере государей Николая Павловича и Александра Николаевича.— Австрия напечатала подлую статью, в которой восхваляют великие качества, заслуги и стараются

выиграть и в новом государе и, вместе с тем, связать его с обещанием мира его отца. Но, кажется, вряд ли он будет; истолкование третьего пункта заключается в том, чтобы мы уничтожили Севастополь как военный порт и что тогда союзные войска удалятся из Крыма, на это и Николай Павлович, вероятно бы, не согласился публично.— Австрийцы, кажется, не успели в своей подлости. Государь Александр принял сухо принца Вильгельма, а сегодня нам сообщил Юрий Оболенский стихи Тютчева, а Ивану — Елагина; стихи сильные, и видно, что искренние (это, вероятно, общее впечатление) и, конечно, дойдут до государя, тем более что дочь Тютчева любима новой государыней[1].— Вообще за границей сильное смятение умов. То предаются надеждам на мир, то опасениям противным. Стараются из всякой безделицы вывести заключение; между собой тоже у них что-то не ладится.— На биржах курс поднялся при известии о кончине государя Николая Павловича, но кажется, надежды эти поколебались, как скоро получено было телеграфное извлечение из манифеста нового государя. Тотчас после известия о восшествии нового государя министр иностранных дел Англии поспешил к Наполеону и имел с ним совещание, говорят, с целью действовать в пользу мира, которого вся Англия желает. Все газеты, по крайней мере немецкие, говорят о государе Николае Павловиче как о великом человеке. В самом деле, какое сильное могучее значение он имел перед Западом, но они именно приписывают ему те свойства и намерения, отсутствие которых возбуждало такой ропот в его стране. Все, что сказано о характере нового императора, вытерто. Об императрице Марии говорят, que c'est une femme hors de ligne, что она, вероятно, будет иметь сильное влияние на дела и что даже, как думают некоторые, может сделаться Екатериной II. Между тем добрые вести сообщают из Москвы. Говорят, государь сказал прекрасную речь дипломатическому корпусу, в которой объявил, что более уступок не сделает и что скорее погибнет во главе своих подданных, нежели заключит постыдный мир. Все в восхищении, это почти равняется объявлению войны. С

[1] Речь идет об известных стихах Тютчева «По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны имп. Николая».

их стороны трудно ждать уступок. Но что будет, одному Богу известно.— Пишут также, что государь велел благодарить Москву за выбор Ермолова, что потребовали депутацию дворян из Москвы и что Чертков и двое еще таких же, кажется, глупцов, как он, отправились. Кто знает, может быть, дошло до сведения государя, что Москва хотела послать депутацию, но предводитель воспротивился. Этому были бы очень все рады. По крайней мере, мы знаем, что генерал Ланской, приезжавший с манифестом от государя, повез в Петербург адрес Хомякова, который разошелся везде по Москве. Вероятно, он знал, почему не было адреса от дворянства, и мог передать даже государю. Но вот что нас всех огорчило, это то, что Погодин не поехал в Петербург. Что с ним делается, не можем понять; дочь его пишет, что все его уговаривали, но что он не собрался, а теперь и время пропустил, и сидит за своими летописями. Отесенька и братья думают, что он получил от кого-нибудь предостережение, чтоб не ехать; если это и так, то, верно, сделано с злым намерением помешать его влиянию на настоящие дела. Я же думаю, что он поддался своему мистическому направлению и все прислушивался, не шепчет ли ему что-нибудь, что он должен ехать, а на беду ему все шептало что-то на ухо, чтоб он занимался летописями.— Это он сам сказывал братьям. Во всяком случае это так досадно, что он не поехал, пропустил, может быть, единственный случай, и так досадно, что никто из наших не поехал, а отчего? — так... сами не знают. Если бы мы жили в Москве, мы непременно уговорили бы съездить Константина да и Погодина также.

Что-то будет, теряемся совершенно в предположениях, все внимание напряжено, все ждут в смятении, чем разрешатся великие события нашего времени, каждая минута заключает в себе великое значение.

Вот стихи Тютчева:[1]

Говорят, в Хотькове видел сторож на заре видение на небе креста, сперва он увидал большую звезду голубого цвета, которая бросала лучи вокруг себя, и потом из этой звезды образовался крест. Он говорит, что позвал еще кого-то; тот

[1] Для стихов оставлен пробел, стихи же не приведены.

тоже видел. Правда ли это или нет, но в наше время нельзя не верить, по крайней мере возможности чудес. Все события так чудны, так явно управляются свыше, вопреки человеческим расчетам.

10 марта, в четверг. Получены «Московские ведомости» и один № «Journal de Francfort», вытертый во многих местах и даже с вырезанным кончиком; это очень досадно и обидно; так важны теперь известия из заграницы. В газетах наших есть известия из Крыма, у нас была схватка с турками, под Евпаторией, и, кажется, они дрались славно, напали на нас так быстро, что в первую минуту смяли, но потом были отбиты с уроном. Впрочем, это уже донесение Остен-Сакена, и хотя он прекрасный человек и генерал, но, говорят, несколько увлекается в своих отчетах. В газетах напечатан рескрипт государя Адлербергу, рескрипт очень хорош, особенно тем чувством, которым он согрет, и вообще человеческим взглядом на отношения людей между собой, хотя бы эти люди были царь и подданный. В этом же номере «Московских ведомостей» напечатаны некоторые подробности первых минут царствования государя Александра Николаевича, его слова к разным генералам. Кажется, он с первой же минуты был твердо решен на войну, по крайней мере вполне уверен в ее неизбежности. Он сказал: «Мы не уступим ни шагу врагу и будем защищать до последней капли крови нашу милую Россию».— На войну он решился, но на какую? Если на оборонительную только, внутри наших пределов, то нельзя ожидать успеха.

В пятницу, т.е. 11 марта, ездил Иван к Троице, воротился только перед обедом и привез с собой Гилярова, который сообщил о воззвании Синода об ополчении. Это воззвание уже было напечатано в «Московских ведомостях», привезенных в этот день. Мы его тотчас же прочли. Неизвестно, какое произведет оно впечатление на народ, но на нас вот какое: Гиляров сказал, что у Троицы давно ожидали воззвания от Синода по примеру прежних случаев, когда при ополчении всегда бывало и воззвание от Синода, это так и должно быть. Нам даже кажется, как будто оно еще было написано при царствовании Николая Павловича, по крайней мере оно вполне отражает в себе последний его манифест, также

сказана причина (защита прав православия и единоверных братьев) — требования Николая Павловича, за которые воздвигли на нас войну, а также под конец выходит, что война настоящая есть только защита наших пределов, одно не повторено: это надежды на мир, которых настоящий царь вовсе не имеет и, может быть, не хочет иметь.— Разумеется, за границей это воззвание будет, вероятно, принято как объявление войны. Еще поразило нас это воззвание потому, что в нем ни слова не упомянуто о покаянии, которое так было бы необходимо, особенно в минуты бедствий и перед великими делами. Голосу церкви это было бы очень прилично. Словом сказать, кажется, такое событие, как воззвание от Синода к народу, такие все же сильные выражения, употребленные в нем, не должны были бы проходить без впечатления, но на нас собственно мало сделало впечатления, да и на всех, вероятно,— не то, которое можно было ожидать. Впрочем, Гиляров, кажется, довольнее, нежели мы. Между прочим Гиляров сказывал нам, что грек Анфим, монах, очень огорчен и тотчас после известия о кончине Николая Павловича хотел ехать в Петербург поклониться ему, но его не пустили, к его искреннему огорчению. Он говорит, что греки будут много жалеть о Николае Павловиче, что с его именем связаны были почти все надежды греков, что настоящего императора не знают, и он сам с недоверчивостью слушал все уверения Гилярова, что государь Александр Николаевич сделает для них еще более.— Замечательный факт,— Николай Павлович следовал именно той политической системе, чтоб скорее отталкивать от себя православные восточные народы, наконец, совершенно отрекся от исключительного покровительства над ними, а между тем народы эти полны преданной, твердой веры в его заступничество. То правда, конечно, что Николай Павлович часто действовал непоследовательно со своей системой политики, которой он был связан, и что его личное сочувствие часто выказывалось и в денежной помощи православным братьям, и в защите их. Так и в настоящую войну, сколько было противоречащих действий, и мое убеждение подтверждается, что если б не Нессельроде, который беспрестанно его принуждал возвращаться к безобразной политике немецкой, то государь был бы увлечен совсем на другой

путь! Кстати о Нессельроде! Замечательно, что с тех пор, как скончался Николай Павлович и воцарился Александр Николаевич, о нем никто еще не упомянул. Говорили обо всех министрах, о том, как принял государь Александр Николаевич такого-то или другого, о Нессельроде же ни слова, как будто он исчез с лица земли. Вероятно, он сказывается больным.— Ему, этому изменнику, ему одному обязаны мы позором и затруднительным положением России!

В «Journal de Francfort» перепечатан манифест Александра Николаевича еще без всяких комментариев, но в новых известиях высказывается мало надежд на мир. В одном из последних номеров помещено поручение австрийского императора принцу Вильгельму к государю Александру Николаевичу.— Оно так нагло, что он стоил и не такого приема. Австрийский император объявляет, что он своей политики переменить не может, а что России советует согласиться на условия, как для ее выгод, так и для выгод Европы и т.д., и обещает в таком случае свое посредничество для того, чтоб требования западных держав не были слишком велики. В «Journal de Francfort» сказано, что Россия еще прежде согласилась признать la chute de Sebastopol comme un fait accompli, т.е. чтоб не возобновлять его уже более. Если это правда, то это ужасно, и кажется, что это правда. Австрия и все западные державы требуют уничтожения Севастополя как военного порта, на что, конечно, не согласится государь Александр Николаевич. 16 марта нов. ст. начались конференции.

В пятницу, 11 марта, часов в 11 вечера уже мы почти все разошлись, у отесеньки болела голова и сильный был кашель; отесенька лег раньше обыкновенного.— Вдруг являются к нам Трушковский и Кулиш. Мы их никак не ожидали, особенно Кулиша, от которого недавно было получено письмо из Малороссии. Мы сперва думали, что Кулиш приехал вследствие письма отесеньки, в котором отесенька обещал достать ему деньги для напечатания его биографии Гоголя, но он письма этого не получил, когда уехал. Услыхавши о кончине государя Николая Павловича и перешедши через все впечатления, через которые перешли и мы все, он остановился на надеждах, возбужденных в нем новым царствова-

нием. «Я одного желаю, чтобы мне дали жить»,— сказал он. Он уже мечтает, что ему откроется новая деятельность, что он будет издавать журнал и т.д. Все известия, сообщенные нам Трушковским и Кулишом, очень утешительны.— Речь государя Александра Николаевича дипломатическому корпусу все хвалят, в ней сказано, «что я погибну вместе с моим народом, нежели сделаю унизительные уступки»; что сверх уступленного государем Николаем Павловичем он уже ничего более не уступит. Говорят, в петербургском журнале напечатана повесть, которую прежде не пропустил бы цензор, и на вопрос издателя, отчего он ее пропустил, цензор отвечал: «Видите, у всех лица веселые, ну и цензуре весело»...— Много ходит анекдотов, все в пользу нового государя. Говорят, один чиновник, пришедший с женой рано поклониться государю Николаю Павловичу, был встречен очень грубо квартальными, стоявшими на страже печальной комнаты. Чиновник рассердился, те еще ему отвечали так дерзко и грубо, что чиновник вышел из себя и ударил квартального.— Из этого вышло дело, и присудили чиновника отставить, но довели до государя, и тот велел отставить квартальных с тем, чтобы впредь не определять за грубое обращение. Говорят, что государь сказал Бибикову: «Вы обманули отца моего, студенты, ни петербургские, ни московские, не желали учиться фрунту, а вы его уверили в этом». Клейнмихель просился будто бы в отставку, на что государь сказал ему: «Очень охотно, граф, но нам надобно сперва рассчитаться».— В Малороссии, сказывал Кулиш, общее впечатление есть сожаление самое искреннее о государе Николае Павловиче и даже некоторое опасение за будущность. Трушковский и Кулиш приезжали собственно для переговоров с отесенькой и братом о печатании биографии и писем Гоголя.

12 марта, на другой день, хотя отесенька чувствовал еще нездоровье, но принимал участие в этих толках. Трушковский привозил нам письма Гоголя к матери. Вопрос был в том, печатать ли их немедленно особо, если отдать Кулишу воспользоваться ими для пополнения своей биографии; этого-то именно и хотелось добиться Кулишу, и он успел в том, говоря, что иначе он и печатать не будет, когда знает, что есть материалы, которыми он мог бы воспользоваться и не

воспользуется. Признаюсь, не раз и даже постоянно производит он на меня неприятное впечатление, что-то именно внутри него есть для меня отталкивающее; я нахожу, что он поступал неделикатно с Трушковским. Письма Гоголя прекрасны, полны такой горячей нежной любви к матери и семейству; сколько важных указаний на его внутренний душевный мир. Я успела только их пробежать.— Толковали также о том, как печатать сочинения Гоголя, разрешения печатания которых ожидает уже давно Трушковский. Уже три года самых важных потеряно навсегда. Также о том, как и когда печатать его письма. Я советовала печатать письма семейные немедленно и отдельно от всех других; отесенька, Константин и Трушковский того же мнения, но Кулиш жарко восставал, так что мы немножко поспорили.— Трушковский же самый добродушный человек, его душевные стремления все хороши, благородны, но нет деятельной силы, может быть, это еще вырабатывается.

В воскресенье утром, т.е. 13 марта, они уехали. Получены были письма от дяди Николая Тимофеевича, который был проездом в Москве, и письмо от Томашевского.— Ермолов, говорят, принят великолепно в Петербурге, и государь сказал, что надеется дать ему высшее назначение.— Это известие привело всех в восхищение.— Верно то, что Ермолов до сих пор в Петербурге.— Нам пишут, что назначены три комитета, один для рассмотрения цензуры, другой для рассмотрения податей...

Константин собирается в Москву для выпуска вновь отпечатанной отесенькиной книжки «Рассказы и воспоминания охотника», заключающей в себе рассказы о разных охотах и в конце маленький рассказ крестьянина о соловьях, записанный И. С. Тургеневым.

Во вторник, т.е. 15 марта, получено было письмо от Кулиша с разными добрыми вестями о государе, с надеждами на цензуру и т.д.— И Кулиш, и Трушковский зовут Константина в Москву. В четверг было получено письмо к Ивану от И. Е. Елагина, где также подтверждают добрые слухи и, между прочим, достоверное известие о том, что есть распоряжение учиться фрунту только тем студентам, которые этого пожелают, тогда как прежде было предписано всем.

В четверг, т.е. 17 марта, Константин поехал в Москву и воротился в понедельник утром.

В его отсутствие получили мы иностранные журналы и московские газеты. В иностранных журналах все говорят о надеждах на мир.— Австрия и Пруссия решительно ссорятся. Напечатана одна прусская статья, в которой даже признают за нами исключительное право покровительства православным христианам на Востоке, право, которое не должно быть уступлено никакой другой державе, потому что оно истекает из самой жизни исторической и т.д. Конференции происходят в совершенной тайне, и потому на все толки о них нельзя обращать никакого внимания. Только то известно, что действует Титов, что он послал deux depeshes criffrees в Петербург по телеграфу. И что нас особенно неприятно поразило — это циркуляр Нессельроде. Увидать вновь его имя в делах наших было возмутительно. Мы, признаюсь, льстили себя надеждой, что он будет удален, особенно потому, что о нем никто не говорил ни слова, а теперь он снова начал действовать во вред России. Циркуляр его, хотя написан не в таких грубо унизительных выражениях для России, но также мошеннически выдает ее врагам. И как он уже начал дурачить доброго Александра Николаевича, беспрестанно ему сует перед глаза последнюю волю его отца, начатый им мир, который он оставил сыну в наследство. А между тем представляет положение Александра Николаевича под видом жалким с тем, конечно, чтобы его унизить; что не бывало еще примера, чтоб при таких затруднительных обстоятельствах всходил на престол царь, и что если он заключит мир, это привлечет благословение всех народов на его новое царствование, и уже в этом циркуляре не упоминается ни о цели возвысить Россию на высшую степень могущества и силы, а только скромно говорится, что государь будет защищать l'honneur et l'integrite de l'Empire, как будто Россия совершенно находится в положении Турции. Словом сказать, нельзя лучше унизить Россию, не употребив наглых унизительных выражений, которых он уже не боялся употреблять при Николае Павловиче. Нет, где Нессельроде и Титов, ничего доброго нельзя ожидать и, покуда эти два изменника будут управлять нашей политикой, Россия не исполнит своего святого долга. Такого

добродушного человека, как государь Александр Николаевич, нетрудно такому бессовестному плуту, как Нессельроде, провести и опутать, как ему это будет нужно. Он уже нашел струну в нем, через которую может им управлять, это воля отца, его действия, и будет его путать, так что он и не увидит, как будет связан и по рукам, и по ногам, и будет вынужден подписать все, что тот ни заготовит.— Вот еще лицо, которое очень вредит государю. Это — Ростовцев[1]. Он и прежде имел к нему доверие, а теперь видно это доверие растет, и этот . . . . , как все его называют, умеет им пользоваться. Как противны его разные приказы, в которых он будто бы с простодушной, смелой и благородной откровенностью рассказывает во всеуслышание все действия, движения государя при представлении генералов, слова государя к нему, т.е. Ростовцеву, с каким чувством он, т.е. Ростовцев, поцеловал руку государя, как государь, сделав два шага вперед, сказал что-то, и в голосе у него были слезы, потом еще несколько шагов, стал прощаться с начальниками заведений, которыми управлял исключительно, потом зарыдал, потом сказал то и то, опять в голосе были слезы, словом сказать, представил государя совершенным шутом.

28 марта. Вот уже и другой день светлого праздника. Слава богу дождались его благополучно, опять услыхали «Христос Воскресе». Приносили образа, какое торжественное радостное пение! На Страстной маменька говела, у нас на дому была служба. Благовещение пришлось в пятницу на Страстной; эти два великие дня были соединены вместе, конечно, это мешало несколько и тому, и другому. Начало уже таять, и дороги портятся. Накануне светлого праздника у нас была служба с вечера; отесенька, Оленька, которая приходила к нам в гостиную, и я, мы ее слушали. Маменька и две сестры ездили в Хотьков, а другие сестры с братьями ездили к Троице и остались очень довольны великолепной торжественной службой. От Троицы они привезли почту, впрочем, очень небогатую, № «Московских ведомостей» и 3 письма, некоторые журналы не получены за разлитием Вислы, как объявлено даже в газетах. Письмо одно важное, от графа Ивана Тол-

[1] Известный Яков Иванович.

стого, начальника Серпуховской дружины, в которую записался Иван, он уведомляет его, чтобы он явился к 1 апреля в Серпухов. Иван едет завтра, ему еще надобно обмундироваться.

В московских газетах интересного особенно ничего, кроме рескрипта государя к Филарету, московскому митрополиту. Рескрипт поразительно сух, и государь принимает даже без благодарности 160 тысяч серебром, жертвуемые митрополитом и духовенством. Вероятно, письмо Филарета было чрезвычайно казенно и состояло только в изъявлении верноподданнических чувств. Это выражение, как кажется, с намерением два раза повторяется в рескрипте, и должно заключить, что государь недоволен им. Митрополит Московский мог бы написать что-нибудь другое; но о Москве государь употребил несколько выражений столь искренних и согретых чувством, что отрадно читать, вот они...[1] И как не отозваться на такие слова, как не отвечать ему приветом на такой привет, хоть из одной учтивости, а тут, особенно когда этот привет так был бы искренен, так всякому хотелось бы высказать свое сочувствие. Но возможно ли что-нибудь при наших московских властях, которые по системе и по глупости противятся всему живому. Желали бы мы одного, чтоб государь знал причины молчания Москвы и отделил бы ее от властей, ее стесняющих. Может быть, он это и начинает понимать, дай Бог!..

В газетах помещено подробное описание нашего нападения с 10 на 11 марта на французские редуты; и хотя оно имело желаемый успех, но кровопролитие было страшное и с той, и с другой стороны: а мы потеряли 8 человек офицеров убитыми и 21 ранеными, а рядовых 400 убито и 800 раненых. Что это за страшное истребление людей по мелочам! Говорят, Наполеон сам хочет явиться в Евпаторию, сосредоточив сперва там до 100 тысяч войск, чтобы сделать оттуда нападение на нашу армию. Это, конечно, будет умнее, нежели брать Севастополь, который, по их собственному признанию, неприступен теперь. Они не перестают восхвалять наши работы крепостные и защиты Севастополя. Как-то теперь встреча-

[1] Пробел в оригинале.

ют в Севастополе праздник, как бы не сделали вылазки, обнадеясь, что в такой праздник защита будет слабее. Долго идут известия, хотя теперь и устроен телеграф до Киева из Севастополя.— О конференции ничего неизвестно достоверного, все скорее пророчат мир, Австрия и Англия сильно желают мира, а между тем католические церкви уже велено строить и в Болгарии, и в Малой Азии.— Неужели мы предадим православных в руки злейших врагов, католиков!..

29 марта. Погода такая ужасная, что мы не могли поехать к обедне в Хотьков; ездил только один Константин, сегодня день его рождения.— С почтою привезли немного, всего одно письмо без подписи, заключающееся в двух словах: «Христос Воскресе», должно быть, от Трушковского. Три номера «Journal de Francfort», впрочем, не заключающие в себе ничего особенного. О конференциях ничего и никто не знает достоверного, все происходит в тайне. Любопытна только статья, перепечатанная из «Times», писанная в день общего покаяния, и подлинно, статья эта есть самое униженное сокрушенное покаяние перед целым светом; сильнее высказать своего позора нельзя было. Конечно, «Times» действует так с целью заставить правительство переменить все прежние не только ошибки, но и основы, и не скупится в выражениях самых энергичных, самых оскорбительных для национальной гордости; но между тем должна сознаться, что эта газета не преувеличивает положения Англии, ее публичного позора, несостоятельности основ ее управления и т.д. Англия пала в общем мнении с высоты своего величия, и пала в соревновании с ее прежним врагом Францией, доставляя своим падением полное торжество ей.

Замечательны еще толки о том, что западные державы вовсе не требуют разрушения Севастополя и что взятие его никогда не было целью их намерений, а только средством к достижению цели, что теперь они не думают требовать уничтожения его как военного порта. Явная уступка! И это нас пугает. Между тем пишут также в «Journal de Francfor», что западные державы вовсе не думают об общем протекторате над восточными христианами, их намерение то, чтоб всякий протекторат был прекращен, а чтоб были des garanties, чтоб союзные державы позаботились об исполнении султанских

распоряжений насчет христиан, не оскорбляя, впрочем, достоинства его власти и не стесняя независимости и целости Турции. Каково, неужели и на это согласится русский царь! По крайней мере, хотя он и принял четыре пункта, имеет полное право не согласиться на такое требование, которое не заключается в этих несчастных пунктах. Что-то будет! Эти несносные конференции тянутся и тянутся, все в недоумении, чего ждать, к чему готовиться, в недоверии следят за действиями нашего правительства, особенно когда главными деятелями его в дипломатических делах опять Нессельроде и Титов. Несносное состояние.— Константин справедливо говорит, что оно похоже на постоянную зубную боль.

Сегодня письмецо от Г. нас немного смутило; он пишет, что митрополит Московский пожертвовал на славянские церкви в случае их освобождения 50 тысяч серебром. От Московской епархии прошлого года положил их в Опекунский совет, после того как они приняты были государем. Теперь, прибавив к ним с накопившимися процентами еще 60 тысяч серебром, он донес о том новому государю. Государь велел их причислить на военные издержки. «Вы можете себе представить, какое впечатление произвело это на главных жертвователей»,— прибавляет Г. Если это так, то это весьма дурной знак, и нас это очень огорчило. Перечли мы рескрипт Филарету, он чрезвычайно сух и даже ни малейшей благодарности, но в нем сказано: «*Согласно Вашему желанию,* эта сумма будет употреблена на военные издержки». Что же это значит? Вероятно, митрополит Московский сам предложил употребить их таким образом; иначе нельзя было бы так явно солгать. Но во всяком случае государь, если бы хотел, мог бы сказать, что он не изменяет назначения этим деньгам, определенного его отцом. Мы даже так слышали (и это совершенно справедливо), что прошлого года даже Филарет предложил деньги на военные издержки, но что государь Николай Павлович сказал: «Поберегите их для болгарских церквей, если Бог даст, мы их освободим». Надобно сознаться, что с самой первой минуты своего царствования до сей поры новый государь ни одним звуком голоса, не только словом, не выразил хотя бы нечаянно какого-нибудь сочув-

ствия к славянам и вообще к православным нашим братьям на Востоке. Если он и говорил о силе и могуществе России, то, кажется, только ограничиваясь защитой ее пределов. Забота о славянах, кажется, вовсе исключена из его политики, и знамя святой причины настоящей войны потеряно; его политика все та же, что и его отца; может быть, он будет стоять более за честь России, как дядя его Александр, и только — и то может быть, что его твердости хватит только на первое время. Циркуляр Нессельроде уже много сбавил тону, что заметили и журналы и уже вновь подняли голос и позволяют себе величаться оскорбительно перед Россией. Неизвестность, недоумение, постоянное напряженное ожидание, недостаток доверия к своему правительству — вот в каком состоянии находятся все умы. А тут собирается ополчение, и сегодня Иван, несмотря ни на погоду, ни на дорогу, должен был ехать по зову своего дружинного начальника. Что за странная комедия — ополчение среди переговоров о мире! — Разумеется, какого же можно требовать одушевления, сочувствия?

30-е, среда. Погода ужасная, буря. Сестры ездили к обедне и были у игуменьи. Известий никаких. Маменька не совсем хорошо себя чувствовала.

Продолжаем читать Пушкина; замечательного, любопытного чрезвычайно много, но написано местами особенно очень дурно; автор просто путается в языке.

31 марта. Сегодня часов в 6 отправилась я к обедне в первый раз на праздник. Воздух теплый, весенний, было совершенно тихо, птицы поют, все дышит весной! Дороги очень дурны; слава богу, доехала благополучно, но несколько опоздала и потому осталась [до] начала поздней обедни; и часы, и обедня — все так радостно и светло; хорошо, что хоть один раз удалось побывать у такой обедни. Дороги ни на что не похожи; сегодня было 11 градусов тепла и тихо.— Воротившись домой, нашла я маменьку лучше. А у отесеньки голова болит.

Вскоре привезли почту: 4 письма, «Московские ведомости» и «Journal de Francfort», два номера, 76 и 78, а 77, видимо, задержан. Мы тотчас же начали читать письма, первое от Карташевских. Тетенька, между прочим, пишет, что на

днях государь сказал по случаю пожертвований, что он надеется, что они скоро не будут нужны. Значит, мир? В то же время Константин, пробегая французские журналы, попал глазами на слова, что Россия согласилась на все и что рассуждения идут только о числе кораблей, которые Россия будет содержать в Черном море. Эти два известия, совпавшие вместе, до такой степени всех нас поразили неприятно, что негодование начало было уже изливаться со всех сторон. Все надежды, возбужденные новым государем, казалось, вдруг все исчезли, доверие, которое так охотно принялось было в душе каждого, вдруг сменилось недоверием, даже в миг возникнувшей враждебностью. Константин говорил: «Я повторяю, мира не будет; если он согласится, то *судьба* его отстранит. Каким образом, я не знаю, но это так будет». Отесенькино же мнение было то, что и никогда нельзя было ничего надеяться, что эти надежды возникают всегда при перемене царствования, что потом все пойдет по-старому. Иные видели в этом указание на невозможность союза нашего с этим правительством, что ничего нельзя ожидать особенного уже потому, что он не отличается особенным умом, что все будет пошло и в пошлой среде совершаться и т.д., но что же будет, чего ждать, если мир,— что будет после мира? — Какое впечатление произведет он в России, где уже в самом простом народе возбуждено столько внимания и участия к настоящим событиям. А между тем Машенька Карташевская пишет, что теперь изменяются мундиры, и говорят, еще будут изменения в костюмах — но это слухи. Ясно намек на русское платье.— Хочет ли он, заключа мир, сперва устроить внутри Россию, но в другом отношении несогласно с желанием русского платья согласие на такой мир. Среди этих смутных впечатлений принесено было письмо от Ивана.

Быстро перешли мы от впечатлений к другим совершенно противоположным. Иван пишет из Москвы с кучером, что хотя ходят слухи о мире, но Ермолов, Закревский и тому подобные лица уверены, что разгорится страшная война. Ермолов не занимается ополчением: ясно, что он не думает остаться начальником его. Что же это все значит? Мы посмотрели журналы иностранные и в них увидали, напротив, скорее возможность войны, нежели мира; депеша, попав-

шаяся первая нам на глаза, не имеет никакого значения перед другими статьями, и вот опять мы возвращаемся к неопределенным надеждам, опять возникает доверие к доброму государю, который, по выражению Хомякова, непременно хочет попасть в москвичи. Мы уже не сомневаемся в его благонамеренности, но смущает нас участие в дипломатических делах Нессельроде и Титова. Что же значат эти слова государя, что более не нужны будут пожертвования? Но эти слова, может быть, никогда не были сказаны, а если сказаны, то под влиянием, может быть, надежд на уступки врагов. Словом сказать, ощущения и впечатления и мысли меняются с быстротой необыкновенной, и воображение, стараясь отгадать будущее, представляет попеременно разнообразные, часто самые противоречащие выводы и образы.

Великие события, совершающиеся перед нашими глазами, подавляют, уничтожают всякие человеческие соображения, и там, где люди думают, что они начинают распутывать их, там они, напротив, уничтожаются все более и более, так что невольно в недоумении и в сознании своей ничтожности останавливается человек перед высшей волею, все невидимо и непонятно для нас управляющей свыше!..

7 апреля. Пятница. Все время от лихорадки не была в состоянии записывать. Сегодня получены важные известия. Запишу их хоть вкратце, чтоб не перепутать после.

Иван пишет нам всякую почту и сообщает все слухи; сегодня уже не слухи, а факты, и страшные. Началось бомбардирование Севастополя со второго дня светлого праздника, именно 28-го числа; это же известие прочли мы и в «Московских ведомостях», полученных сегодня. Два дня продолжается канонада и еще продолжалась в минуту отправления курьера.

С нашей стороны уже потеряно 800 человек убитыми и ранеными. Ужасно! Наконец все эти 6-месячные приготовления завершились давно ожидаемым событием, но чем завершится это событие, никто не знает, но да поможет Господь нашему воинству, да заступится Господь за правое дело, прощая грехи наши! Что-то там теперь? Может быть, уже все решено, но какой бы ни был исход, Боже мой, сколько жертв, сколько ужасов, страданий человеческих!..

Странно, в народе ходили слухи о страшном сражении, бывшем на Святой, прежде нежели известие о том могло достигнуть наших мест, и теперь прибавляют, что сухопутные наши войска напали на неприятеля и много его утеснили. Будем ожидать дальнейших извещений. Это только первая телеграфская депеша. В ней прибавлено, впрочем, что наши батареи нанесли много вреда неприятелю. Да смилуется Господь над нами!

Иван пишет, что из Петербурга пришли достоверные слухи, что Венская конференция рушилась — война, и что ополчение будет распространено и на другие губернии. Это похоже на правду, судя по всем иностранным известиям, но что за путаница! Вместо того, чтоб разъясняться,— настоящие события все более и более усложняются или беспрестанно принимают совершенно другой вид и являются с другой новой стороны неожиданно. Так, например, теперь казалось, чего определеннее положения Англии, Франции и Австрии в отношении России и их взаимные отношения между собой, и вдруг среди самых конференций такие превращения, что в изумлении читаем. Австрия печатает уже две статьи в «Аугсбургской газете», в которых прямо высказывает, что для Германии и Австрии опаснее всего перевести силы западных держав на восток и что Австрия еще подумает, не лучше ли будет ей действовать заодно с Россией в пользу христианских народов, находящихся под игом Турции, и что намерение западных держав ясно, т.е. завладение Турцией и торговлей и т.д., что влияние России на христианские народы всегда будет преобладать над влиянием других наций и что не лучше ли помочь этим христианским трудолюбивым племенам, нежели расслабленной Турции, что, конечно, Пруссия в таком случае поддержит Австрию, и как бы сознавая затруднительность для Австрии выхода из союза с западными державами, и что то же Пруссия хорошо сделала, что себя не связала никакими обязательствами и оставила за собой свободу решения и взгляда. Если сообразить, что и Пруссия что-то вдруг недавно вступилась за права покровительства России над православными христианами на востоке, что как-то особенно выражает сочувствие к русским царям и даже их политике, то можно заключить, что тут яви-

лись новые соображения и расчеты, в которых, вероятно, не обошлось без участия и дружеского совета австрийского агента, управляющего нашей дипломатией, т.е. Нессельроде, как я его разумею. Он еще давно в одной из официальных статей говорил, обращаясь к иностранным державам: «Что вы стараетесь ослабить материальную силу России, вы попробуйте ослабить ее духовно-нравственное влияние над христианским народом, вот ее истинная сила». Вероятно, он и теперь шепнул об этом слово, а главное, уведомил, что со стороны нынешнего государя России нечего ждать Австрии пощады, если она будет против.— Вот они и вздумали всего лучше вместе с Россией освобождать христиан из-под ига турок, надеются таким образом и разделить ее влияние над этим народом, и не потерять союза с ней, а подлая мошенническая Австрия надеется таким образом сохранить за собой своих славян, да еще чего доброго потребует помощи против французов от нас за такое самопожертвование; и мы по мошенническим хлопотам Нессельроде пойдем еще ее выручать. Что-нибудь да в этом роде делается! Недаром пишут, что хотя конференции на время прекращены, но частные переговоры о третьем пункте (т.е. о владычестве России на Черном море) продолжаются между австрийскими и германскими и русскими уполномоченными. Тут, вероятно, работает этот изменник Нессельроде. Об одном заботится, чтоб среди этого всеобщего землетрясения сохранить во что бы то ни стало союз России с Австрией, так как без того Австрия бы погибла. Он запутал и запугал государя Николая Павловича, представляя ему его обещания сохранить Sainte Alliance, которая давно уже была нарушена самой Австрией, или пугая его ее необъятными войсками, возбуждая в нем недоверие к сочувствию славян. Конечно, он знал не хуже других, что для Австрии война с Россией была бы гибелью, что стоило бы объявить только войну Австрии, чтоб в ту же минуту распалась она вся, что вся ее армия не пошла бы ни за что на Россию, что все народы, ее составляющие и ненавидящие ее, отложились бы от нее, и для того этот злодей и изменник сгубил Россию, из самого выгодного положения привел ее в самое затруднительное, старался перед глазами всех унизить ее, сколько только было для него возможности;

овладевши и запутавши Николая Павловича, он довел бы бог знает до чего Россию, но Бог не допустил. Он виновник всей той напрасно пролитой крови наших несчастных войск.

Но напрасны ли были все сражения на Дунае? Война неизбежна, но только в положении, тысячу раз труднейшем, должны мы будем вести ее, и теперь еще он будет ее тянуть для того, чтоб побольше собралось войска французского и английского и в Турции, и в Азии, где до сих пор, по их собственному признанию, не было вовсе армии. А Бебутов был остановлен в своих блестящих победах, и теперь всю зиму под Севастополем неприятель был в таком положении, что овладеть им было легко в сравнении с теперешним его положением, когда он в силах напасть на нас. Я убеждена, что он старался всеми силами, сколько от него зависело, чтоб англо-французы овладели Севастополем, надеясь, что тогда бы все кончилось выгодой для Австрии и иностранных держав. И теперь мы должны будем идти в Турцию, но когда? —Тогда, когда она будет наводнена войсками Франции, когда везде будут укрепления, когда каждый шаг будет нам стоить потоков крови. Признаюсь, не желаю ему ни смерти, ни даже болезни, но дай Бог, чтоб он был отстранен от участия в делах России, от возможности губить Россию и единоверных наших братий. Зачем государь Александр Николаевич употребил его в этих переговорах? Но все же он ему, кажется, полной воли не дает. Напечатано, что Нессельроде отвечал *categoriquement*, что об ограничении силы России в Черном море и вопроса быть не может (т.е. о разорении Севастополя) и об ограничении числа кораблей *в случае открытия свободного входа в Черное море кораблям военным всех наций* — это даже Австрия находит ignominie для России, потому, вероятно, что это было бы невыгодно для Австрии, но, кажется, и сам Нессельроде дает им знать, что другого рода ограничение владычества России можно требовать, и по всему видно, что с нашей стороны уже дано согласие, чтоб Англия и Франция строили крепость на другом берегу Черного моря и около Константинополя и имели бы сколько угодно кораблей, если на это согласится султан, но Англия на это не согласна потому, что это значило бы отдать владычество Франции. Иван пишет, что предполагаемый

приезд государя Александра Николаевича не состоится (его ждали на днях в Москву и к Троице с братьями, возвращающимися в Севастополь), по болезни матери его, которая *очень и очень больна*.— В Петербурге нового ничего особенного нет, все еще ждут, но, кажется, все же будет полегче.

Наконец, в газетах есть несколько слов о впечатлении, произведенном на Грецию кончиной православного русского царя. Удивительно, нельзя было читать без восхищения и умиления, как, несмотря на ужасный гнет и почти завоевание, в котором находится теперь этот несчастный народ, он выразил свое сочувствие и любовь к России и к православному государю. При совершении панихиды по государю Николаю Павловичу народу было столько, что греческие священники принуждены были совершать ее под открытым небом, и при провозглашении вечной памяти весь народ повторял эти слова; в домах были вывешены черные платки, все носили черный креп. Речь Иннокентия нашего при благословении знамен была переведена на греческий язык и напечатана в Афинах, в двух журналах. Можно себе представить, какое она производила впечатление на греков, но зато пострадали журналисты! (Были преданы суду.) О! когда-нибудь да дорого расплатятся англичане и французы за эти беззаконные, бесчеловечные, разбойнические поступки! — Боже мой! Когда же наступит день освобождения для этих несчастных народов, но видно, что и все мы согрешили, что не допускает Господь совершить нам этот подвиг! — Каков наш Иннокентий, да поможет ему Бог в его действиях! А Филарет, как скупец, сидит над своим сокровищем, и ни сам не пользуется, ни другим не дает. Какой плод от его ума, от его необыкновенных даров,— только душит все живое, и в себе заморил! Как, ни одного слова сочувствия или одобрения, или утешения, или укора не сказать во все это время при таких страшных великих событиях, которые и самых пустых людей заставляют содрогнуться и познавать великую волю Божию, совершающуюся ясно пред всеми! Недавно читали мы его проповедь, говоренную на день св. Алексия митрополита; он коснулся обычаев и предания о вреде моды, и в том числе упомянул об употреблении табака как худородного зелия, дошел было до зла подражания иностранцам, которые

так действуют теперь нехристиански, и тут, как будто испугался, внезапно прекратил речь.

В «Московских ведомостях» напечатана ода на восшествие на престол Александра Николаевича — М. А. Дмитриева. Видно, как он искренно обрадовался новому царствованию, как возродились в нем надежды. Несмотря на торжественные и сильные выражения сочувствия, впрочем, совершенно приличные оде, она поражает своей смелостью, потому что такое намеренное умолчание о Николае Павловиче в тех именно местах, где, кажется, хоть из приличия нельзя было бы не упомянуть о нем, бросается всем в глаза. И это должно огорчить государя Александра Николаевича, хотя ода не может ему не быть приятна. Даже все советы автора оды новому государю служат как бы косвенно укором прежнему государю[1].

Недавно были напечатаны в «Московских ведомостях» прежние прекрасные стихи Жуковского на день рождения в Москве ныне царствующего государя, в них много высказано свободы мысли и желаний прекрасных. «Обманет ли сие знаменование?» — можем все повторять. Еще ничего, ничего нельзя сказать утвердительного теперь.— Всех смущает возрастающее значение Ростовцева, его называют Мазарини. Иван сам пишет, что ополчению предназначается вовсе не блистательное поприще, по крайней мере на первый раз: оно будет разделено по дивизиям армейских полков и будет таким образом составлять чернорабочий батальон при войсках.

В субботу получили мы еще письмо от Ивана: известий никаких из Севастополя. Странно, как после такой депеши не посылать каждый день депешу о ходе дела, каково быть в неизвестности. Что-то там делается, что уже сделалось, может быть![2]

Иван старается объяснить и оправдать свое вступление в ополчение, потому что, конечно, оно более похоже на набор, нежели на вольное ополчение, и особенно при переговорах о мире, и потому не могло возбудить сочувствия. Он надел

---

[1] За эту оду М. А. Дмитриеву было объявлено высочайшее благоволение.

[2] Письма Ивана Сергеевича за время ополчения в издании «И. С. Аксаков в его письмах». Т. 3, ч. 1.

мундир, был в нем на вечере и привел «в зависть и восторг всех», как он сам пишет. Хомяков, странно, всех посылает в ополчение и сердится на Самарина и Елагина, что не пошли. Получивши письмо Ивана, Константин, который и прежде собирался в Москву в этот день, тотчас же и поехал.

Сегодня, т.е. воскресенье 10 апреля, получили много писем с почты и «Московские ведомости», а иностранных журналов нет. Досадно! «Московских ведомостей» лучше было бы и не читать, до такой степени они пусты, напечатано только о кафтанах, полукафтанах и вицеполукафтанах, данных всем войскам. Самые интересные письма от Ивана, Плетнева и Попова. Иван пишет опять, что известий никаких, кроме того, что в пятницу приехал курьером [флигель-адъютант] (это, вероятно, только подробности о начале бомбардировки, о чем было сообщено только вкратце по телеграфу). Иван наконец утвержден и представился Ермолову, который его принял прелюбезно (впрочем, он всех так принимает).

Иван нашел его бодрым и свежим и душой, и телом, но язвительные сарказмы так и сыпались в его речи. Иван думает, что 30-летнее действие укоренило в нем это настроение, что никакие обстоятельства его не изменят,— это так, но между тем мне кажется, судя по слухам, он воротился из Петербурга в другом расположении духа, был доволен и чего-то надеялся. Вслед за тем была бумага, объявляющая от министра, что впоследствии государь предоставляет себе назначить ему, т.е. Ермолову, более важное место, и как до сих пор не воспоследовало, то Ермолов имеет полное право думать, что продолжается все та же прежняя оскорбительная комедия, в которой так учтиво употребляют все усилия, чтоб парализовать его деятельность втихомолку, не явно, осыпая в то же время любезностями. По крайней мере, его слова не могли бы быть сказаны Ивану, если б Ермолов сохранял какую-нибудь надежду на другое с ним обращение. Вот эти слова он сказал Ивану, что знал его желание занять при нем какое-нибудь место, но что в ополчении нечего делать, а что, может быть, ему, т.е. Ивану, удастся перейти в армию. Иван сказал, что будет тогда просить его содействия. *«Моего, помилуйте, мои просьбы всегда приносят только вред, и я счастлив, когда еще отказывают учтиво».* Если

бы он верил искренности желания государя употребить его в дело, или по крайней мере уважению к себе, он не мог бы этого сказать.

Ермолов вообще выражался с порядочным презрением об ополчении. Ивановы товарищи — какие-то бывшие полицейские чиновники и тому подобные, и такого рода, что начальник его дружины гр. Толстой просил Ивана взять на себя казначейскую часть, потому что другим и *доверить нельзя*. Никто из порядочных людей не хотел идти в Московское ополчение. Так ли оно призывалось, с тем ли намерением и при тех ли обстоятельствах было сделано, чтоб возбудить сочувствие? Конечно, нет. Все это было устроено при Николае Павловиче и совершенно согласно с его системой. Во-первых, воззвание было сделано так двусмысленно с надеждами на мир, при таких унизительных уступках; во-вторых, самому ополчению старались придать самый казенный характер, боясь оставить за ним всякое живое народное значение; не назвали его земским войском, как прежде, а государственным ополчением, не призывали на ополчение, а *повелевалось* составить такое-то; дружины назвать не по городам, а по номерам, не стоять вместе, а разделить их по войскам и т.д. Одушевление было убито, и это пародирование всего этого устройства, по-видимому, свободного, показалось каким-то ругательством. К тому же не знали, зачем собирать, когда ищут мира при таких унизительных условиях: приходилось, стало быть, сражаться за эти самые условия, а может быть, еще Австрию пошлют защищать и т.п. Такие мысли приходили всем, и потому всякий отделывался от ополчения, как мог, и надобно было допустить совершенную дрянь; но в других некоторых губерниях приняли как-то простодушно, поверивши одному слову «ополчение»; вспомнили прежнее в 1812 г., и самые лучшие люди поспешили стать в ряды его. Так, в Костроме Фед. Ив. Васьков, прекрасный человек лет 60-ти, болезненный даже, был выбран в начальники Костромского ополчения и пошел с четырьмя сыновьями.

Плетнев пишет задушевное дружеское письмо к отесеньке и благодарит за книжку, между тем говорит, что надобно надеяться, что придирки цензора скоро будут уменьшены и совсем прекратятся. Приглашает братьев к деятельности.—

Попов отвечает Константину, расспрашивает его о занятиях, о том, на чем остановилась его мысль, чего надеется, чего ожидает, и т.д. Видимо, вызывает его на письма, т.е. письма политические, какие Константин часто писал к Оболенскому, тогда как до сих пор не выказывал этого желания.— Иван сообщает также слухи о том, что государь Александр Николаевич желает дать камергерам и камер-юнкерам вместо мундиров какие-то народные кафтаны и даже говорит, что они будут переименованы в стольников и ключников, но теперь отложено на время: конечно, не до того — в настоящую минуту. Между тем в петербургском обществе толкуют уже о сарафанах. Говорят, будто бы государь сказал: «Пусть всякий одевается, как хочет, мне до этого дела нет!» Хорошо, если б это была правда! — Но вообще везде царствует какое-то недоумение, неизвестность, что будет и чего именно хочет правительство. Все чувствуют, что делается как-то легче и в отношении платья, и в отношении духа. Тютчев Ф. И. прекрасно назвал настоящее время *оттепелью*. Именно так. Но что последует за оттепелью? Хорошо, если весна и благодатное лето, но если эта оттепель временная, и потом опять все закует мороз, то еще тяжелее покажется.— Все слухи говорят, что война. Ермолов то же сказал при Иване. Николай Тимофеевич пишет, что он представлялся новому государю (как губернский предводитель с депутацией из Симбирска), который их очень обласкал, благодарил несколько раз за пожертвования и сказал, что, вероятно, потребуются еще новые и что он надеется, что дворянство ему поможет; вот эти сведения верные, и видно, что государь не сомневался в войне ни на минуту. Иван пишет, что *статья о глаголах* после *двухгодичного* цензурования выпущена наконец... Какова цензура!

Отесенькина книжка идет прекрасно и находит общее сочувствие. Как жаль, что отесенька напечатал ее всего 800 экземпляров, несмотря на наши убеждения напечатать полный завод!

11 апреля. Сегодня опять тепло, весенний день. Вестей сегодня никаких, да и не могло быть. Занимаемся каждый своим делом, а между тем душа томится неизвестностью и ожиданием, что-то делается в Севастополе, да помилует Гос-

подь наших. Что-то узнаем завтра? Или Константин приедет, или письма должны быть!

12 апреля. Поутру было письмецо от Константина; он сам будет, вероятно, завтра. Иван уехал к своей дружине в Серпухов.— Наконец, получена депеша от 3 апр.: бомбардирование все продолжалось, после того было известие, что оно слабее.— Какой ужас! — уже неделю продолжается это истребление людей! Скорбь душевная всеми овладела.

Константин сверх нашего ожидания приехал вечером, слава богу, благополучно. Но нерадостные известия привез он нам; получена депеша телеграфная от 7 апреля; страшное бомбардирование продолжается беспрерывно,— напечатаны некоторые подробности о первых днях, много потерь с обеих сторон; Боже мой! чем это все кончится. Это борьба насмерть; французы не отойдут теперь от Севастополя, из одной чести, они скорее все лягут, нежели откажутся от своего предприятия. Они хотят во что бы то ни стало разрушить Севастополь. Их план бомбардировать до тех пор, пока не заставят молчать русских, а потом атаковать. У нас, говорят, снарядов много, и подбитые пушки вновь заменяются другими (а мы у них подбили 50 пушек). Что же будет, одно истребление! Боже мой, за грехи людские посылаются им эти бедствия! — Стоим ли мы того, чтоб Ты за нас заступился; праведен гнев Твой, но очисти и помилуй нас.— Господи, возбуди в нас всех покаяние!

Вот теперь время общественному покаянию, молитвы. О, если бы мы покаялись, как Ниневия! Сердце сокрушается при мысли, что происходит теперь в Севастополе и что еще будет. Всем бы надобно было стоять единодушно на молитве непрестанно и молить о пощаде; должно было бы объявить пост и покаяние.

Других известий важных никаких нет.

В Государственном совете, собранном по случаю конференции, Блудов говорил прекрасно, совершенно в воинственном духе, а Долгоруков, военный министр, советовал принять мир со всеми уступками. Нессельроде же сказал будто, что более уступок делать нельзя; но это, конечно, или потому, что дальнейшие уступки с нашей стороны будут вредны для Австрии, или же потому, что знает, что государь Алек-

сандр Николаевич не хочет и согласиться на дальнейшие уступки: так, вероятно, Нессельроде сказал это для того, чтоб выиграть в глазах государя и получить его доверие и между тем разными невидимыми происками достигать своей цели. Славян он уже продал окончательно: по крайней мере, это видно из журналов иностранных.

В одном из журналов «Francfort» перепечатана статья из «Constitutionnel», в которой три места вытерты, но явно, что говорится об уступках, сделанных Россией в 4 пунктах, т.е. о покровительстве православных. Россия отказалась окончательно от всех прав своих на покровительство несчастных православных, приняла весь пункт с истолкованием. Замечательно, что в некоторых местах эта статья совпадает совершенно и во взглядах, и даже в выражениях с одной статьей, должно быть, Нессельроде, напечатанной в «Journal de Francfort», присланной из Петербурга. Нессельроде указывает Европе, как надобно действовать, чтоб парализовать силу и влияние России; да и все ноты его писаны в этом смысле.

Говорят, государь Александр Николаевич все носит генерал-адъютантский мундир, живет в прежних своих комнатах и еще не нарушает прежнего порядка.— Блудов сделан президентом Государственного совета. Это хорошо потому особенно, что это последовало после того, как он говорил такую воинственную речь. Все говорят о перемене платья, что это теперь только отложено на время. Замечательно, что уже начинает возникать кой-где недовольство новым царствованием, хотя совершенно не важное и в самом пустом кругу или в людях, принадлежащих к партии Великого князя Константина Николаевича.

В четверг, 15 апреля, получили мы «Московские ведомости», в которых напечатаны подробности о первых днях бомбардирования и депеша телеграфная от 3 апреля с известием, что бомбардирование продолжается с той же силой. Самые лучшие начальники и офицеры убиты. Ужасно, сколько еще погибнет!

Сегодня (пятница) еще известия подробные (в «Московских ведомостях») о последующих днях бомбардирования до 3-го числа, и депеша телеграфная от 7-го.

Бомбардирование все продолжается, хотя несколько слабее последние дни, но страшно вообразить себе непрерывную и днем, и ночью эту ужасную канонаду. Боже мой, чем это все кончится! Если неприятель и принужден будет прекратить ее, то за этим последует непременное сражение в поле, они хотят броситься на нашу армию, потому что атаку Севастополя считают совершенно невозможною. Они опять несколько раз пробовали отнимать у нас наши ложементы, которые ближе к их траншеям, нежели к нам, но всякий раз были отбиты после отчаянного боя. Но что стоят все эти схватки, сколько отличных офицеров погибло у нас, сколько солдат! Наши сбили у неприятеля несколько пушек, но они выстроили еще две батареи, и мы не перестаем вести наши работы, укреплять мины. Что за ужасы! Сердце содрогается о том, что теперь там совершается и что совершилось уже, может быть, в настоящую минуту. Ужаснее всего то, что не видишь другого конца этой борьбы, как истребление друг друга. Осада и защита Севастополя, неслыханная доселе, по их собственному признанию, только раздражает и подстрекает их самолюбие. Трудно надеяться, чтоб они после неудачной попытки разрушить Севастополь оставили бы Крым, и только неудачей оскорбленное самолюбие будет причиной такого ужасного кровопролития. Конечно, неприятель потерял не менее нашего. Все повреждения, наносимые Севастополю, исправляются быстро, и люди работают без устали и сохраняют удивительную бодрость и даже веселость духа, так что князь Горчаков пишет: «Нельзя не гордиться именем русского». Да поможет им Бог!

Сегодня получила от Машеньки Карташевской письмо, которое нас очень обрадовало и успокоило на их счет. Они получили письмо и даже два от Коли: слава богу, от не только жив и здоров, но даже должен оставить Севастополь и ехать в Керчь, где он назначается исправляющим должность начальника артиллерии восточного края Крыма. Вероятно, боятся нападения с этой стороны. Слава богу, тетенька теперь может быть покойнее и, вероятно, скоро соберется к нам. Машенька пишет также, что переговоры на конференции совершенно расклеиваются, что требования врагов наших дошли до безумия, и прибавляет, что хорошо, если б

возвратить и сделанные им уступки в наказание. Это, верно, общая мысль в Петербурге. Дай Бог!

Сегодня в наших газетах есть еще чрезвычайно приятное известие о возвращении наших пленниц, княгини Чавчавадзе и сестер ее, княгинь Орбелиани с их детьми. Шамиль выдает их в обмен за сына своего и 40 тысяч серебром. Сын его был захвачен нами и воспитан в корпусе, теперь он служил в нашей службе. Говорят, его смутила в первую минуту мысль о возврате его в дикую свою родину, однако ж он сам пожелал, но был глубоко оскорблен, когда отец его, согласившись возвратить пленниц на этих условиях, вдруг отказался от своего обещания и потребовал миллион денег и 250 пленных. Молодой Шамиль, которого очень хвалят, написал ему письмо, в котором объяснил, что отец его этим унижает его в глазах русских; отец согласился, и вот совершился обмен, чрезвычайно любопытный. Какая радость, какое счастье должны были испытывать наши пленницы и их близкие; и какие смутные, противоречащие чувства должен был испытывать молодой Шамиль, переходя из образованного мира в полудикую горную жизнь своего народа. Кто знает, может быть, великие судьбы совершились в этом событии, и этот молодой человек, который у нас прошел бы жизнь свою наряду со всеми другими, теперь там будет иметь влияние на народ свой и на наши отношения с ним!

18 апреля. Вчера получили одно только письмо, от Кулиша, очень умное и замечательное: он говорит о впечатлении, произведенном на него Москвою (он там встречал Святую), о том, что элемент общерусский начинает тесниться в его хохлацкую душу и что он много благодарен Константину. Но в то же время письмо его сообщает вовсе не радостные вести о Петербурге. Он вполне разочаровался в своих надеждах, он убедился, что ожидать ничего нельзя, не только в настоящую минуту, но и в будущем, и потому он немедленно уезжает на свой хутор, куда он даже не думал возвращаться. По почте он не мог написать подробнее, в чем дело, но, по крайней мере, его личные надежды на какую-нибудь деятельность разлетелись, и вот еще человек, обманувшийся в своих ожиданиях насчет нового царствования; но мы еще не допускаем себя придаться полному разочарованию, все еще выжидаем.

Настоящая минута так полна всякого недоумения, неизвестности, нерешительности в политических делах, что трудно предпринимать какие-нибудь важные преобразования. Теперь не до внутреннего устройства и перемен. Конечно, государь мог бы решительнее действовать и в политических делах, но он, с одной стороны, уже связал себя, подтвердивши 4 пункта, принятых законным государем Николаем Павловичем, с другой стороны, Нессельроде, разумеется, запутывает положение, сколько может.— К тому же, вероятно, Пруссия также нам держит руки именно своей дружбой, ради которой и эти 4 пункта приняты, а также государыня Александра Федоровна, конечно, не допустит никакого разрыва с Пруссией, она и на троне русском осталась такой же пруссачкой,— ей даже сказали в предполагаемом адресе из Берлина что-то вроде этого. Вот уже два раза пишут в английских газетах, что прусский король просит нашего государя прислать Нессельроде для заключения мира, если он возможен, и уговаривает государя согласиться с западными державами, потому что в противном случае вся Германия приступит к союзу с Австрией, и тогда Пруссия будет находиться в крайне затруднительном положении.

Каково! Если государь Александр Николаевич и не согласится в первую минуту, то достаточно будет слез матери, чтоб его склонить, а тут и Нессельроде со своими мошенническими доводами, убеждениями и напоминаниями о воле его отца и т.д. Нас до сих пор еще спасают сами наши враги, они не умеют остановиться на том позоре для России, которого уже достигли требования их, и теперь на конференциях доходят, говорят, до безумия, и до сих пор Провидение спасает нас их же собственным ослеплением, но мы на краю пропасти. В конференциях царствует и до сей поры та же неизвестность, та же запутанность, и чем более хотят они упростить вопрос, тем более они усложняют его.— Мы боимся, что Нессельроде поедет в Вену... Тогда беда! — Россия пропала, он во что бы то ни стало заключит мир; что за странное положение! В Севастополе дерутся отчаянно, истребляют друг друга, в Вене идут переговоры о мире, за что же дерутся, зачем же проливается кровь, и затем ли, чтоб потом опять принять 4 постыдных пункта, уже принятых, или за-

тем, чтоб уступить и сам Севастополь, который сам враг не сумел разрушить! — Странное время. Отесенька справедливо говорит: сколько раз во все продолжение этих обстоятельств, полных недоумения и неизвестности, нам казалось, что вот наконец достигаем мы решительной минуты, когда чем-нибудь да должен быть решен вопрос; казалось, все истощены препятствия к тому, все запутанное, наконец, разъясняется, будет же какой-нибудь конец, и в эту самую минуту поднимаются нежданные, невообразимые затруднения, возникают совершенно новые обстоятельства, вопрос усложняется вдвое, и опять все тянется и, наконец снова как будто достигает конца и снова возрождается и запутывается. Кто-то очень хорошо сказал, что Восточный вопрос совершенно напоминает Пенелопину ткань; это сравнение как нельзя более верно, но только там дело шло о нитках или шелках, а здесь гибнут также напрасно живые люди.

Невыносимое состояние томления и ожидания. Справедливо и Иван сказал, что этот громадный вопрос еще не выработался вполне, что теперешние явления и события — только его усилия выйти наружу: он только зашевелился, и заколебалось все, и пыль поднялась кругом. Да точно, этот великий вопрос должен прежде выработаться, и в умах всех многое должно обличиться, многое призовется к ответу, сколько вместе с ним подымется самых глубоких жизненных народных вопросов и задач! Вот уже Англия потряслась в своих основных началах, на которых до сих пор держалась вся ее сила, все ее внешнее могущество и слава. Гордая Англия унижена и сама это говорит, она расшаталась, по собственному признанию, и вопросы, поднятые ею, не улягутся без разрешения. Достаточно ли в ней внутренней силы, чтобы перенести этот кризис, кто решит? Наше время смирило человеческую самонадеянность и заставило признать искренно неисповедимые и правосудные пути Провидения.— Кто мог ожидать, чтоб Англия так упала в глазах всех? Что будет с Францией, какой она нам представит пример, еще труднее решить. Силен и тяжел лежит на ней гнет произвола, долго ли она будет ему покоряться, куда он поведет ее, не обольстит ли ее блеск внешней славы, купленной дорогой ценой внутренней свободы духа и жизни или (если, как го-

ворит Константин, справедливо, что западные народы не понимают истинной свободы духа), по крайней мере, ценой соблазнительного произвола, к которому французы так привыкли, но как скоро они привыкли и к рабству, как скоро выучились его приемам, как блистательно подличают, пресмыкаются перед своим властителем, как скоро и непрекословно отказались от всего, что им было так дорого! Замечательная речь Гизо в этом отношении: с какой глубокой грустью сознает он это в своем народе, он взывает всех к самосознанию, к внутреннему покаянию.

Какой тяжелый, строгий урок представляет Франция в настоящую минуту; разными путями наказуется и тут гордость и самонадеянность национальная. Но какой особенный, необыкновенный человек, который служит орудием для смирения, и таким образом! Он — не гений, не герой, он не возбуждает энтузиазма, в нем нет ничего увлекательного, но какая-то страшная внутренняя сила, которая подавляет и заставляет покоряться. Сила рассудка, молчаливой воли, настойчивости, сила практичности, совершенно современная и потому так успешно действующая, и не только во Франции, но и во всех западных государствах. Без завоеваний, без побед он умел их завоевать, наложить на них свой гнет, сделать их зависимыми от себя; поставил их всех в такие запутанные и затруднительные отношения, что они без него из них выпутаться не могут; держит их всех в беспрестанном страхе за свою безопасность, в недоумении насчет его планов; его ждут в одно и то же время при трех или четырех дворах, толкуют, рассуждают о значении его приезда, везде готовят дворцы, приемы для него, а он только забавляется этим хлопотливым шумом около себя. Наконец, после многих верных и неверных известий его поездка в Лондон объявлена, и в Англии, стране свободной, независимой, в гордой Англии поднялась такая суматоха по поводу ожидания его приезда... Кого же? Деспота, смирившего свободный народ, племянника того Наполеона, которого она столько ненавидела. Даже противно читать эти речи, встречаемые с энтузиазмом, по поводу приготовлений к приему grand empereur и его illustre epouse, в которой нашли даже капли крови шотландской, потому что сестра ее замужем за герцогом Албани, который производит

себя от шотландцев. Что за униженные выражения, что за подлая лесть. И это — независимая Англия! Написан целый почти церемониал его приема, приготовления, arcs de triomphe, адреса и т.д. Трудно поверить! Один Хомяков в своих пророческих стихах предсказал падение Англии[1].

Вчера, т.е. в воскресенье, маменька поехала в 11 часов утра в Москву с Надей, Любой и Машенькой. С дороги и от Рахманова мы имели известие, что они доехали благополучно, дороги не так дурны, как ожидали; они встретили образа, которые несли из Городка в Репьевку с пением «Христос Воскресе».

У нас обедала попадья,— уехала часов в 7.

Вторник 19 апреля. Мы получили с почты письмецо от одной Любиньки, маменьки с сестрами не было в то время дома. Они приехали в Москву поздно и, кажется, не очень довольны своей квартирой. Известия из Севастополя до 10-го,— что бомбардирование продолжается, хотя и слабее; неприятелю удалось взорвать мину и соединить воронки перед 4-м бастионом, говорят, это для нас опасно. Венские конференции все в том же положении, но мира не ждут. Получили также мы «Journal de Francfort» один номер. В нем тоже ничего нового, кроме того, что наконец получены инструкции из Петербурга. Говорят, что Россия отказалась ограничить свое могущество в Черном море. Наполеон отправился в Англию; оттуда воротясь, он вскоре собирается в Вену и вместе с австрийским императором намеревается напасть на южные губернии России,— а у нас именно теперь нет там войск: главнокомандующий кн. Горчаков стянул все войска к Крыму. Это уже не в первый раз случается, что именно у нас нет там войск, где надобно, и в ту самую минуту, когда надобно.

Отесенька получил письмо от Дмитриева[2], который не может скрыть своего удовольствия, что наступило другое царствование,— он искренно надеется всего доброго от государя Александра Николаевича и верит пророчеству, которое было еще при Александре о благоденствии царствования Александра Николаевича. Дай Бог! Но что-то часто приходит

[1] Все эти рассказы о Западе, занимающие так много места,чрезвычайно характерны для славянофильства и вскрывают ту почву, на которой вырастали славянофильские представления об исключительной роли России.

[2] М. А. Дмитриев.

сомнение, уже смущение начинает распространяться, и многие уже совершенно отказались от своих надежд.

Гиляров приехал в то время, как мы сидели за завтраком, мы вовсе его не ждали, тем более что только что получена была от него записка. Гиляров — как и всегда, с унылым, недовольным, расстроенным лицом. Впрочем, ничего особенно неприятного не случилось, но это его почти постоянное состояние духа; и это очень жаль, это ему много вредит в сношениях с людьми, а человек замечательно умный, ученый и даровитый.— У Троицы известий особенно никаких, кроме того, что дано знать, что государь к Троице не будет; наместник вследствие этого предлагал Филарету послать икону преподобного Сергия, как знак его благословения, но Филарет не согласился; а между тем в то же время посылается икона Успения Божией Матери от митрополита Киевского и принята очень хорошо. Наш Филарет опять ошибся в расчете и верно внутренно недоволен. Он оказал себя во все это время до такой степени мелочным, бездушным, тщеславным, недостойным великого своего сана. Гиляров нам сообщал любопытные свои расследования и открытия в памятниках древнего церковного пения, у него есть довольно верное ухо, но мало ученого знания музыки, и это ему мешает. Он предается с увлечением вообще ученым исследованиям, предметы его почти неразработанные, и он говорит, что конца не видит своей работы. Много рассказывал он нам чрезвычайно любопытного о своем детстве, юношестве, о том, через какие темные стороны жизни должен был он пройти; у него есть записки его жизни, которые он давно уже обещает прочесть нам. Они должны быть чрезвычайно любопытны во всех отношениях[1]. Разговор перешел как-то на то разнообразие самолюбия в каждом человеке, и что такое самолюбие, и по скольку его есть у каждого из них, и какого рода. Вследствие того было высказано много откровенного друг о друге. Константин сказал Гилярову откровенно и добродушно, что он, т.е. Гиляров, слишком постоянно занят самим, т.е. беспрестанно с самим собой возится, в себя самого погружен, что это ему мешает обращать внимание на других, что Констан-

[1] Эти записки изданы под заглавием «Из пережитого». М., 1887.

тин вообще замечал не раз, что Гиляров не возбуждал расположения к себе, что он не приветлив, не радушен, разумеется, не в отношении нас, но в других, как например Новаковича. Гиляров сознался, что он сам это несколько раз замечал, что его большей частью не любят, и даже те люди, которых он одолжает, что он сам видит, как их стесняет своим присутствием. Лекции его слушаются с интересом, но его личность мало выигрывает от этого. Это правда, что постоянное унылое состояние духа, что называется aigri, полное горечи и недовольства, заставляет его смотреть и на людей с недоверием, досадой и презрением или пренебрежением. Константин говорил ему, что часто брань оскорбляет гораздо менее, нежели деликатное замечание. Гиляров большею частью соглашался со всем, но приписывает много своей рассеянности, погруженности в свои занятия и говорит, как бы так сделать, чтоб уметь быть приветливым. Константин возразил ему на то: не уметь быть приветливым, но надобно в душе быть таким и т.д.— Гиляров расспрашивал отесеньку о впечатлении, сделанном им в первый раз, и очень удивлялся, что оно было выгодно. Гиляров уехал часов в 10.

Часов в 11 приехал из Москвы от маменьки посланный, которого мы ожидали только на другой день. Маменька пишет большое письмо. Вести из Севастополя от 14-го все те же — все продолжается бомбардировка, хотя слабее; французы действуют с удивительной энергией! Все внимание сосредоточено на Вене; конференции совсем было разошлись, но изменник Титов начал опять подличать, а в Петербурге Мейендорф (зять Буоля), говорят, более Нессельроде хлопочет; но это штуки Нессельроде, только он, верно, прячется за Мейендорфа; как бы то ни было, но чего можно ожидать, когда у нас управляют министерством агенты австрийских министров! Австрия, говорят, уклоняется от войны с нами, которая ей очень невыгодна,— это хуже всего.— Ее нейтралитет парализует все наши военные действия, и к тому же мы его купим дорогой ценой, такими уступками, о которых даже не сочтут нужным нам сообщить. Говорят, графу Орлову нечего делать, что полиция тайная будет понемногу уничтожена. Бибикова государь не принимает, тот написал такой отчет по одному важному делу, что государь написал *«Не понимаю»*. Би-

биков составляет после того огромное истолкование. Кажется, никаких решительных действительных мер и преобразований нельзя ожидать от Александра Николаевича. Он очень добр, искренно благонамерен, но у него недостает нравственной силы для приведения в исполнение своих намерений. Что-то будет? Господь да помилует Россию. Что-то теперь в Севастополе! Льется драгоценная кровь наших храбрых защитников, и льется даром, бесплодно и даже не возбуждая сочувствия и сострадания, которое можно было бы ожидать.

К нам приезжал вечером после обеда приказчик фарфорового завода Попова, просить отпустить к нему повара на свадьбу его двоюродной сестры. Он сказывал, что в народе большой восторг, особенно после синодального воззвания, что к нему приходил крестьянин старик, отпустивший охотно сына за *святое дело,* как сам крестьянин выразился. Гиляров сказывал, что у них получены наставления Филарета, как писать воинственные речи, и что эти наставления совершенно дают другой смысл, нежели наставление Синода.

Священники говорят, что если бы они исполнили все наставления Синода, то весь народ бы поднялся.

21 апреля. Получены «Московские ведомости», два номера «Journal de Francfort» и 9 писем. Письмо от маменьки из Москвы. Вестей политических новых никаких, от 14 апреля депеша из Севастополя сообщает все то же, что продолжается слабое бомбардирование. В «Московских ведомостях» еще только напечатана депеша от 10-го числа. В иностранных журналах также ничего особенного. Один номер задержан, а эти почти все наполнены описаниями торжественного приема императора и французов. Восторги англичан доходят до подлости, до раболепства, как один английский журнал сам выразился с горечью. И это Англия, и это англичане, какое-то безумие и ослепление нашло на них — они посрамились перед всем светом! И это свободная нация!.. Во дворце комнату, называемую в честь единственной почти победы англичан *«Ватерлоо»,* в которой были собраны портреты всех героев того времени, переименовали *навсегда* в комнату портретов для того только, чтобы слух французского императора не был оскорблен славою Англии. Право, невероятно! Куда же делась национальная честь, независимость? Англия

хуже, нежели завоевана материально,— она завоевана нравственно, дух народа унижен, и перед кем же раболепствует великая нация? Перед Наполеоном! Как не сознаться, что он великий человек. После того эти завоевания без грома и блеска, но значительнее и прочнее завоеваний его дяди. Наполеон управляет почти всеми государствами Европы, как пешками, по своему произволу. Его намерение и планы занять навсегда Константинополь и вообще Турцию, под видом необходимости постоянного военного наблюдения и охранения... Что-то из всего этого будет? — Все против нас, но хуже всего то, что мы сами против себя, т.е. наше правительство, наши министры иностранных дел — самые злейшие враги России.— Вот в чем видим мы гнев Божий на Россию, что Бог допускает таких людей управлять нами.

В «Московских ведомостях» напечатан рескрипт Дубельту с пожалованием ему Владимира 1-й степени. Это всех нас горестно поразило. Государь не может не знать, что это за человек! Если б даже он хотел в уважение отца своего наградить чем-нибудь Дубельта, то зачем же прибавил он и о *своем особенном* уважении к нему? Чего тут ждать после этого! —Кулиш и Трушковский приходили к маменьке в Москве. Сочинение Гоголя наконец позволено, но так, чтоб цензор подписал разрешение от себя.— Конференции все длятся, но кажется, настанет и им конец скоро; что-то будет, все истомились этим ожиданием.— От Ивана письмо из Серпухова, он сделан квартирмейстером и казначеем, дела пропасть самого неприятного. Он, кажется, не раз пожалеет, что поспешил с вступлением. Хочет приехать к нам, если можно будет. Прием ратников, говорит он, делается, как и рекрутов, и так же неохотно идут. Офицеры ополчения еще не собрались, потому что многим не на что обмундироваться, а московское дворянство вовсе не было щедро в своих пожертвованиях.— У нас отвезли ратника в Дмитров, там начальник князь Леонид Голицын, тут, говорят, с ними обходятся хорошо и мало учат.

22 апреля, пятница. Получили письмо от маменьки или, вернее, от Любы, и «Московские ведомости», и Люба пишет, что верного ничего нет. Т. сказывал, что конференции длятся, что Австрия смущает Францию, угрожая, что станет за Россию; другие же говорят, что кн. Д. Оболенский

привез из Петербурга известие, что конференции прерваны, что Австрия решилась объявить нам войну и Пруссия за нас. Насколько это правда, неизвестно.

12 августа. Вот как давно не записывала я ничего! Но что совершилось в эти три месяца с половиной, в каком положении наши дела, оправдывает ли новое царствование возбужденные надежды? Произошли ли ожидаемые перемены? Увы, ни на что нельзя ответить удовлетворительно: дела наши становятся все хуже и хуже, новое царствование обмануло все ожидания, так что и самые сильные защитники его, долго не хотевшие расстаться со своими надеждами, пришли в совершенное уныние; прежняя система восторжествовала, а с ней вместе и все злодеи России, сознательные и бессознательные, все подлецы, окружавшие трон, остались на своих местах; предатель Нессельроде, причина всего зла в России, на которого падает ответственность за все бедствия русского народа, торжествует и действует по своим видам более, нежели когда. Государь — такое лицо, о котором никто не говорит уже. С Австрией более, нежели когда-нибудь, сближаемся и подличаем, уступаем ей и Германии все пункты, только чтоб они остались в том положении, как и прежде, т.е. чтоб Австрия также вязала нам руки для того, чтоб врагам нашим ловчее было нас бить. Правда, распустила свою армию, не объявила нам войны, но этим она спасла только себя, она не могла вести войны против России, по ее собственному признанию, без помощи иностранных держав, в которой они ей отказали, содержать же такую армию наготове она не была в состоянии; ей угрожало немедленное банкротство, и так она спасала себя самою; и за все это мы уступили не только 2 первых пункта, но и третий, хотя не официально (была напечатана в «Journal de Nord» статья предательски подлая, выше всяких слов, унизительная для России, разумеется, Нессельроде, где говорилось, что Россия сама желает *справедливого ограничения* своих сил и что напрасно западные державы ломятся в незапертую дверь и т.д.). А о четвертом сказано, что *cette question est moralement resolue!* Что говорить,— нами управляет австрийский агент! Что ж удивляться, что он губит Россию для выгод Австрии! С Австрией и Берлином тайные переговоры и еще бог знает что мы им усту-

пили, вероятно, предали и славян, и греков; а дела наши военные! Боже мой, как все мрачно, что потеряли мы в это время, какие несчастья, страдания, какие невозвратимые, незаменяемые потери... Нахимова нет! Он погиб, и так напрасно! Боже мой, что должен был он испытывать в последнее время, видя, как напрасно погибает Черноморский флот, обреченный на конечную гибель ради неспособных главнокомандующих; через какие нравственные должен он был пройти страдания! Каким тяжелым безотрадным ударом была весть о его смерти! Статья Мансурова лучше всех высказала это общее впечатление. Ради Нессельроде, Долгорукова и Горчакова, хотя и не дурного человека, но вовсе не способного начальника, должна страдать и гибнуть Россия. Во всем этом виден страшный гнев Божий, вполне заслуженный нашими грехами. Лучшие люди отнимаются, и допускаются действовать те, которые губят Россию. Твердыня зла возносится над всем, грабеж везде. Боже мой, мы заслужили наказания,— дай нам покаяться и обратиться от грехов! Господи, очисти и спаси Россию и не отыми от нас святых судеб Твоих!

Керчь отдана без боя, и жители оставлены на разграбление и мучения врагов; вероятно — измена, иначе объяснить нельзя. Отняты наши самые важные редуты, с которых теперь враги наносят нам самый ужасный вред. Приступ на Малахову башню, слава богу, был отбит с большим уроном для неприятеля и после того, кроме обыкновенной канонады, до сих пор не было еще ничего важного, но на днях получено известие, что мы перешли Черную речку, делали нападение и должны были отступать после кровопролитного сражения, потому что у нас было мало войск сравнительно. Но зачем у нас было мало, когда их теперь так много под Севастополем? Говорят, убито три генерала.

Привезли газеты и письма. В «Московских ведомостях» еще нет подробностей о неудачном нашем нападении, а в «Инвалиде», говорят, уже есть; но напечатана телеграфная депеша от Горчакова, что 5-го началось вновь сильное бомбардирование и продолжалось 6-го в то время, как была писана депеша; мы заставили замолчать несколько неприятельских батарей, что-то будет!

Завтра или послезавтра воротится, вероятно, Константин из Москвы, куда он поехал в четверг для свидания со своими приятелями, которые все должны быть в сборе в это время в Москве по разным причинам, но более всего потому, что ведутся переговоры о журнале, покупают у Погодина «Москвитянин» с тем, чтобы переменить название. Говорят, западная сторона уже добилась себе журнала в Москве и употребляет на это большой капитал. Все эти сведения сообщил нам Самарин, который был у нас 7 августа с князем Владимиром Черкасским совершенно неожиданно. Черкасский давно собирался познакомиться с отесенькой, просил позволения приехать, но не мог попасть, по разным обстоятельствам; теперь же, уезжая из Москвы с тем, чтобы прожить зиму в деревне, он захотел хотя на короткое время побывать у нас. Письма получены от Гриши два, от Юрия Оболенского и из деревни и еще письмо к Сонечке. Гриша хлопочет в своем новокупленном имении, Софья, кажется, очень довольна и Оля также, Господь с ними, дай Бог, чтоб все было благополучно.— Юрий Оболенский все собирается к нам — пишет — по делу.

14 августа. У нас сидел сосед наш Пальчиков, заехавший после обедни, и в это время приехал Константин. Вести самые грустные, мы потеряли ужасно много, убитых и раненых всего тысяч 6 человек, и даром, все даром. Покуда Горчаков, конечно, надобно ожидать только неудач и гибель.

18 августа. Уже часов в 10 вечера приехали Васьковы, муж с женой. Федор Иванович выбран начальником Костромского ополчения и провожает свои дружины[1].

---

[1] На отдельном клочке бумажки, едва видно, набросан карандашом следующий отрывок, относящийся к этому месту дневника: «О посещении Васькова; об ополчении. Поездка к Троице и смотр его ополчения. Обед у нас, Ратьков и др. Ив. Фед. Васьков [сын] рассказы, грабеж в ополчении и везде. Побег Менгдена из его дружины. Отъезд их и проводы за Арханово. Поездка Константина к Путяте, рассказы его брата; известие о приезде государя в Москву и к Троице. Посещение братьев Пальчиковых, на другой день они обедали у нас, провели целый день. Известие, что государь едет на Хотьков, приказ исправить дороги. Константин уехал в Москву встречать государя. Иностранные газеты, известия их. Приезд англичан в Париж, прием. Значение и действия Австрии и Пруссии. Пальчиков привез брошюру французскую, ответ на Moniteur».

1 сентября. Боже мой, какое известие! Севастополь взят! Как громом поразило нас, неужели это правда, но сомневаться нельзя! Маменька ездила в Хотьков к обедне и там видела дам, только что приехавших из Москвы, которые сами читали уже напечатанную депешу.— Но, конечно, чего можно было ожидать при Горчакове! Он, верно, отступил на Бельбек и оставил гарнизон на жертву. Он умел только погубить бесполезно людей в безумном предприятии на Черной речке: сам Пелисье пишет, что там нельзя было действовать массами, а тут, когда, как все говорят, надобно было бы попасть во время приступа на врагов сбоку, он этого не делает. Все его Коцебу, который отличился особенно планом сражения на Черной. Даже из Одессы пишут, что Остен-Сакен на военном совете был против этого плана.— Что же теперь будет! Севастополь взят, значит, и Крым весь завоеван. Конечно, не Горчакову удержать его. Я, признаюсь, везде вижу измену, да и в иностранных журналах пишут из Одессы о деле на Черной, что, вероятно, шпионы уведомили врагов о нашем движении; но не только шпионы, в Москве говорят об измене какого-то генерала. Немудрено, Горчакова окружают все поляки и немцы.— Но что бы то ни было, бедствия и бедствия; кто бы и как бы ни был виноват, Господь допускает совершаться всем этим бедствиям нам в наказание за грехи наши, и как заслужили мы гнев Божий по грехам нашим и теперь не каемся и теперь не обращаемся... Страшно! Боже милостивый, что же еще должно постигнуть нас! Обрати нас и помилуй ради милости Твоей! О Боже, не до конца прогневайся на нас. Господи, коснись сердец наших, отверзи очи наши, да покаемся! Государь, верно, отложил свою поездку в Москву, верно, не захочет показаться народу в минуту такого бедствия, в котором его же могут обвинить. Конечно, он виноват, что не сменил Горчакова и Долгорукова. Как жаль, что не захотели поручить дело Ермолову, из подлого мщения и боязни; конечно, при Ермолове этого не было бы. Государь говорит об общественном мнении, но до сих пор, кажется, еще ни в чем его не послушался. Сменил только Бибикова, который в настоящую минуту всех менее мог сделать зла. Есть дела, которые не терпят отлагательства, и гибель десятков тысяч людей должна была бы заставить забыть всякие

выжидательные меры и деликатности. Что-то он будет делать теперь? На что решится?

Получены газеты, и в них приложены печатные известия, телеграфная депеша о взятии или, лучше, об уступке Севастополя, потому что Горчаков сам пишет, что приступы были отбиты, кроме Малаховой башни, но что оставаться под таким огнем нельзя и что войска переходят на северную сторону, т.е. он отдал весь Севастополь со всеми его укреплениями. Боже мой! Зачем же было их делать? Конечно, если б был Ермолов и даже Меншиков, этого бы не было. Право, можно подозревать измену, и если не в самом Горчакове, то в его окружающих.— Но какое бы то ни было страшное, горестное событие, которое будет иметь для нас самые пагубные следствия, совершилось: Севастополь отдан, значит, и Крым нам уже не принадлежит. Если Горчаков не сумел удержаться за такими непреоборимыми укреплениями, то как же может он устоять в открытом поле. Он бежит до самого Перекопа и, сдавши Перекоп, с торжеством взойдет в Россию и еще будет, пожалуй, хвалиться, что совершил в порядке отступление. Но что б то ни было, дело совершилось; все жертвы, все гибели людей, все неимоверные труды и подвиги, все было понапрасну, больно и обидно, и впереди все то же и то же, полная безнадежность. Получен ответ от князя Вяземского Константину, ответ такого рода, какого и ожидать было нельзя: это не только любезное и дружеское письмо, но полное юношеского увлечения, мечтаний, которые он надеется осуществить на своем новом поприще. Дело вот в чем: он сделан товарищем министра народного просвещения совершенно неожиданно для всех; Константин, узнавши об этом, написал ему со своим добродушным доверием и откровенностью очень просто, что просит похлопотать о снятии подписки с него и с Хомякова, Киреевского, Черкасского и с брата Ивана, на которой они обязаны представлять свои сочинения не иначе, как в Главное управление цензуры, и при этом рассказал ему, как его статья о глаголах $1\,^1/_2$ года цензуровалась. Константин прибавил, что он, зная его, уверен, что он сам постарается об этом, что назначение его возбудило во всех благие надежды. Вяземскому, видно, было очень приятно это доверие, он благодарит за благосклонное

мнение о себе, за надежды; просит горячо содействия, говоря, что теперь именно такие люди, честные, истинно русские, необходимы для правительства, что надобно, чтоб не было недоразумения между правительством и ими и т.д.; оговаривается только в том, что всякий должен оставить для того свои коньки, т.е. личные прихоти, но никак не убеждения, и постскриптум прибавляет: «Вам покажется по письму моему, что я вербовщик, что ж, если б мне удалось завербовать вас, то царь, отечество и просвещение *сказали бы мне спасибо*».— Приятно было прочесть это письмо, признаюсь, минуту спустя мне показалось, что это юношеские мечты и слишком молодой жар, хотя и старика, и вряд ли может осуществиться. Нет, к несчастью, кажется, уже зло так велико, так далеко зашло, пагубная система прошедшего царствования успела уже пустить такие сильные корни, что отвратить это зло не могут никакие личные усилия и воля даже самого государя. Только внутреннее, страшное потрясение может искоренить его и обновить и возродить Россию, если на то есть благая воля Господа, и, кажется, нам не избежать этих страшных внутренних потрясений. Сегодня получил отесенька от Гилярова письмо отчаянное, в котором он высказывает все свои мрачные предчувствия и соображения и совершенную безнадежность отвратить грядущие бедствия. Он ожидает внутренних страшных возмущений, видит в народе недовольство; письмо его вполне выражает настоящую тягостную минуту, и мы хотим его сохранить.

Получены еще письма от Машеньки Карташевской, от Дмитриева, от Трутовских. Все писаны еще до получения несчастного известия. Дмитриев пишет о своей оде, за которую получил благосклонный отзыв от государя, и также о статье Константина (о глаголах), которую хвалит чрезвычайно; говорит, что это истинный, новый взгляд и т.д; в журналах так недоброжелательно ее разбирают. Впрочем, это натурально, тут есть и jalousie de metier, и разность направлений и проч. и проч.

Вечером лил непрерывно страшный дождь, и неумолкаемый шум этот неприятно действовал на нервы, и без того так грустно и мрачно было на душе, но стало теплее, был даже гром и мелкий град.

2 сентября. Сегодня получили газеты и письмо от Константина. Он старается нас приготовить к страшному известию о Севастополе, думая, что мы еще ничего не знаем: сам в отчаянии и негодовании против Горчакова: и в самом деле он просто отдал Севастополь без всякой нужды. Приступов было не шесть, как можно было бы заключить по его первой депеше, а всего один, но в шести или семи разных местах, и везде он был отбит окончательно, кроме Малаховой башни. Может быть, они бы не пошли вовсе на второй приступ, удовольствовались Малаховой башней, но он сам поспешил уйти, и еще в следующей депеше хвалится, что перешел на северную сторону *с неимоверным успехом*. Это слово взорвало всех и ясно указывает на образ действий и понятий Горчакова. Ретироваться без всякой нужды, оставляя неприятелю недоступные для него укрепления, и хвалиться, что ретировался *с неимоверным успехом*... это, конечно, привело в негодование всех, и с одного конца России до другого будет один приговор Горчакову.

Также в утренней депеше, от несчастного 27-го числа, он пишет, что огромные бомбардирования и что мы теряем по 2500 [человек] в сутки; а сегодня напечатана его депеша от 26-го, где он пишет, что хотя бомбардирование по временам чрезвычайно сильно, но мы отвечаем успешно. Что же это значит? Зачем же он не написал, что мы теряем по 2500 [человек], как доносят на другой день? Очевидно, что ему нужна была эта цифра для оправдания своего отступления, которому нет никакого оправдания. Невыносимо больно, обидно, возмутительно, горестно, что и в этом случае не сила обстоятельств, не превосходство неприятеля, невозможность противостать ему заставила нас сделать ему пагубную уступку, а прихоть или дурацкое распоряжение какого-нибудь Горчакова, или еще хуже, но не менее возможна измена или распоряжение Нессельроде, который, конечно, желает давно уступить Севастополь, в надежде на окончание войны, так как он уже признал печатно, что Россия сама желает *справедливого ограничения*. Конечно, Господь допускает все эти бедствия в наказание нам, но не менее того виноваты те, кто причиной этих бедствий и отдадут отчет в них. Не хотели воспользоваться ничьими советами и указаниями,— письма

Погодина были читаны, кажется, только для того, чтобы действовать совершенно противоположно им,— пребыли верны своей системе и святому союзу, несмотря на то, что от него отказалась давно вся Европа; хлопотали о выгодах Австрии; перевели войну в Россию, за то теперь достойно наказываются наши государи, но и то не впрок: и теперь то же будет. Нессельроде сидит, а это источник всего зла и всех бедствий России, и внутренних и внешних, и что теперь делать? Теперь уже все потеряно, теперь уже советовать нечего, Крым потерян, влияние на Востоке также, все предания России, все ее значение, и назначение, как единственной православной державы, все потеряно, едва ли не безвозвратно, и все это совершилось на наших глазах шаг за шагом, в полном сознании, несмотря на все бесполезные усилия честных людей удержать от этого рокового пути к гибели. Боже, что будет далее, через что еще должны мы пройти! Как тяжело, какая тоска на сердце! Сколько слез проливается теперь по всей России, сколько молитв возносится! Есть же хотя несколько праведников во всей России, неужели и они не умолят Бога помиловать нас? Константин пишет, что государь приедет 1-го числа в девять часов вечера. На другой день будут ходить по соборам, будет выход, во дворец будут пускать все сословия. Государь едет с женой, с детьми и со всеми братьями. Вдовствующая государыня приедет двумя днями позже. Константин прибавляет: авось либо среди святынь Московского Кремля найдет на государя благое вдохновение. О, дай Бог!

Константин пишет о приказе государя по случаю отдачи Севастополя. Он пишет, впрочем, это для нашего ободрения; очень его хвалит; но мы находим, напротив, что он вовсе не таков, как должен бы быть в такую минуту. Это правда, что он написан в духе смирения и покорности воле Божией; но кроме того, он должен бы ободрить всех; сказать, что эта уступка временная, что мы возьмем назад все потерянное, а государь говорит только, что он уверен, что все войска будут везде встречать неприятеля с тем же мужеством и защищать родную землю, как будто приготовляет к новым потерям. Он уже как будто примирился с мыслью, что Россия потеряла Крым, и, пожалуй, скажет: «Я обещал не уступать и не ус-

туплю, но удержать нельзя было против такой силы».— Константин надеется, что сменят Горчакова, но этого, конечно, не будет; в этом же приказе действия его совершенно оправдываются. Чего же ждать? Позорного мира с уступкой Крыма, или позорной войны при тех же правителях и начальниках, под главным управлением Нессельроде... Войны, которая, веденная таким образом, поведет нас еще к большим уступкам и изнурениям. Теперь, конечно, Австрия поспешит присоединиться деятельно к западным державам, да и другие государства тоже. Торжество Наполеона достигло высшей степени, его влияние возрастет еще больше; все покоряются не силе его оружия, но силе нравственной или безнравственной его духа; эта коалиция не та, что была при Наполеоне I, та была насильственная, а теперь все идут по собственному убеждению, потому что в нем слышат свою силу и опору; такого рода завоевания прочнее завоеваний его дяди.

3 сентября, суббота. Константин приехал часов в десять, огорченный, возмущенный до крайности. Вести, привезенные им, привели нас в еще большее негодование. Легче было бы перенести такой удар, если бы это совершилось вследствие необходимости, если бы мы уступили силе, превосходству врагов; но когда это все даром, когда, напротив, мы одержали победу, отбив их почти на всех пунктах, и после этого по соображениям какого-нибудь Горчакова отдали Севастополь, не только Севастополь, но всю Славу, все значение России, честь и целость нашей земли, все ее будущее, все ее предания, наследственное влияние ее на Востоке; когда даром были в продолжение года все усилия, неимоверные труды и самопожертвования, до сих пор увенчавшиеся полным успехом, всех беспримерных защитников Севастополя, это невыносимо, возмутительно! Овладевает такое безотрадное, бесполезное сожаление, невыносимо болезненное чувство, с полным сознанием невозможности отвратить зло... Безнадежность полная в будущем! Изнемогаешь под тяжестью всех этих ощущений; невыносимо бывает — не знаешь, что делать, днем и ночью все то же, беспрестанно то же и то же, и сердце болит от тоски! Тяжелые, тяжелые времена! О, дай Господи, чтобы они были непродолжительны, чтобы эти тяж-

кие испытания, посылаемые нам за грехи наши, принесли благодатный плод, обратили бы нас к Тебе!

Пелисье доносит телеграфной депешей Наполеону, что он отбит на всех пунктах, только едва держится в одной части Малаховой башни, что потери чрезмерны, что англичан не существует. Он, конечно, не решился бы на второй приступ и, конечно, не вооображал, чтобы мы после победы оставили сами Севастополь!..

Генерал Мендт, воротясь из дворца, сказывал Казначееву, что получено известие, что Горчаков заранее начал уже свозить пушки с укреплений и что на редуте, где атаковали англичане, мы отбивались только штыками и все-таки отбили их. Ясно, что у Горчакова давно было решено отдать Севастополь и только он ждал удобного случая, чтоб это имело вид, что мы уступили силе оружия неприятеля.— Кажется, Горчаков с первой минуты приезда в Крым не имел другого намерения, как отдать все при первой возможности; он начал с того, что приказал Липранди оставить высоты на Черной речке, которые были для нас чрезвычайно важны и очень стеснительны для неприятеля: без этого французы не моли бы занять Федюхиной горы, на которую мы же потом нападали в несчастном сражении на Черной незадолго до последнего приступа. В «Journal de Francfort» сказано про это сражение, что: «Les Russes voulaient reprendre les hauteurs qu'avait occupe Liprandi». Все, что ни делал Горчаков, было некстати и не вовремя. Все, кто сколько-нибудь понимает дело, осуждали его, зачем он во время первого приступа 18-го числа июня не велел сделать Липранди диверсию во фланг неприятелю. Подкрепления ему пришло более ста тысяч, и что он с ними сделал? Только бесполезно погубил множество и с такой армией оставил Севастополь без всякой нужды.— Во время штурма он не нападал с тылу на неприятельскую армию, а перед самым последним штурмом вздумал напасть, тогда как неприятель имел возможность стянуть туда все войска и укрепить Федюхину гору.— Это несчастное дело, в то время, когда всякий день ожидали приступа на Севастополь, было, конечно, великим торжеством для наших врагов; в «Journal de Frankfort» пишут из Одессы, что Остен-Сакен на военном совете, собранном перед этим делом, был

против него, но что Коцебу (начальник Главного штаба Горчакова), которому принадлежал он, настоял на нем и убедил всех. Этот разбойник Коцебу, говорят, умный и хитрый человек, был, вероятно, подкуплен; все действия его такого рода. Горчаков ровно ничего не знает, все забывает, все путает и только заботится о том, чтобы выставить и расхвалить Коцебу. Что давно был план сдать Севастополь — в этом нет сомнения; мы знаем наверное, что еще до первого приступа Горчаков писал государю, что его удержать нельзя, и просил разрешения его оставить, и *было разрешение,* но еще был тогда жив Нахимов! Несмотря на отнятие у нас редутов, столь важных для нас, вскоре последовавший затем штурм был отбит блистательно, и Горчаков донес, что штурм был отбит *сверх всякого ожидания* или что-то вроде этого; теперь это ясно, что ему должно оправдаться перед государем в том, что он доносил ему прежде о невозможности удержать Севастополь. После того мы слышали, что последовал приказ защищать Севастополь до последней крайности. Неприятель не решался на второй приступ до окончания своих работ, но тут Горчаков сделал новую глупость, если это не был злонамеренный план ослабить наше войско, план если не самого Горчакова, то, может быть, кого-нибудь из советчиков его,— так нелепо, так безрассудно было это предприятие! — После этого несчастного сражения сын Горчакова был в Петербурге и, донося государю, от отца своего, что он говорил не знаю, но знаем то, что государь говорил ему: «У меня не будет Гофкригсрата в Петербурге, пусть Горчаков действует совершенно независимо». Эти слова значили позволение сдать Севастополь, государь не мог не знать взгляда Горчакова на этот предмет и потому не должен был давать ему такого разрешения.— Думал ли в самом деле государь, что нельзя удержать Севастополь, или политические планы и соображения заставили его решиться на такую уступку — это еще вопрос. Кажется, похоже на то, что последняя причина вероятна, особенно когда мы прочли в «Journal fe Francfort» статью, в которой сказано, что австрийскому министру была сообщена нота Нессельроде самая ласкательная, в которой сказано, что Россия считает всякое ограничение ее силы недостойным ее, иначе как *par la forces des armes*... Теперь на-

ше предательское министерство признает, что все случилось par la force des armes, и потому не унизительно признать *les faits accomplis,* т.е. не возобновлять ни Севастополя, ни флота. А между тем в той же иностранной статье сказано, что в последних номерах «la Gazette de la Croix» (берлинский самый преданный России журнал, который до сих пор восставал громче всех против признания четырех пунктов), сказано, что: *«если Австрия может поручиться за то, что западные державы ничего не будут требовать более четырех пунктов от России, то Германия не видит причины не принять их»*.

Ясно, что это не иначе писано, как по нашему наущению, что мы заранее согласились на мир на всех четырех пунктах и с отдачей Севастополя для удовлетворения самолюбия Наполеона. А нас только одурачили и не знали, как сладить с общественным мнением и с армией, которую обмануть еще труднее было. Если это так, то подлее этого поступка нельзя и придумать.— Правительство предает предательски народ, которым правит! Чего еще мы дождемся? Поскольку государь действует тут сознательно, трудно решить. Может быть, его убедили в невозможности отстоять Севастополь, в неизбежности его падения, и он по слабости своей согласился на такие меры. Или он делает это в надежде, и то только в надежде, что привлечет Австрию в союз, что возобновит враждебный нам, так ошибочно называемый, святой союз, если Наполеон не согласится на мир и на этих унизительных условиях. Во всяком случае это дурно, и не то говорил он при восшествии на престол, обещая исполнять виды Екатерины; конечно, уступая Черное море и Севастополь, он не исполнил их.— Боже мой, что делается у нас и чего ждать! Государь приехал в Москву 1 сентября поздно ночью, но, несмотря на то, народа было очень много и встретили его, говорят, хорошо. Константин не дождался его приезда, но видел его на другой день в Кремле. Народа было такое множество, особенно внутри решетки, что с мужчинами даже делалось дурно. Константин много наслышался тут разных народных толков.— Говорили, впрочем, без уныния о настоящих несчастных событиях, вспоминали 12-й год, своих отцов, участвовавших в нем. «Только скажи, только ухни, нас

60 миллионов — мигом 6 миллионов поставим». Был тут также один человек (вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину), который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце.— Наконец, появился государь с государыней под руку. «Ура» кричали не дружно, так что Константину стало жалко, и он сам поддерживал возгласы. Все Красное крыльцо наполнилось блестящими придворными, государь и все были без шапок, разумеется, и народ.— Государь так худ и печален, что Константин говорит, что нельзя было его видеть без слез; он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования. И сверх того он также жертва воспитания гибельной системы, от которой не может освободиться.— Государь кланялся не низко, как все заметили в народе.— Тут Константин услыхал, как тот же подозрительный человек сказал: «Одному человеку какая честь!»

Как скоро государь и государыня вошли в Успенский собор, народ надел шапки, но придворные оставались еще на площади без шляп, и потому один полицейский счел за нужное приказать народу снять шляпы, но в народе отвечали: «Зачем? Государь вошел в собор, для дам что ли нам шляпы скидать?» И не послушались.

При входе в Успенский собор митрополит встретил государя с крестом и говорил довольно долго речь. Из Успенского собора государь пошел в Архангельский, но тут сделалось так тесно, что Константин поспешил уйти.— Константин видел Погодина, он совершенно убит; его приглашают показывать Москву наследнику, но он хочет отказаться, говорит, что просто не может собрать мыслей; Погодин в совершенном отчаянии еще более потому, что, не говоря уже о правительстве, само общество в такой апатии, так равнодушно, деморализовано, что ничего ожидать нельзя. Погодин нарочно ездил в клуб: там все по-прежнему толкуют, но между тем карточные столы по-прежнему расставлены. Погодин получил письмо от графини Блудовой еще до сдачи Севастополя, по которому ясно видно, что в Петербурге это событие не было нечаянностью, боялись только, чтоб оно не пришло

в то время, как государь будет в Москве. В то же время Погодин получил письмо от Берга из Севастополя, тоже еще до отдачи его, в котором тот пишет, что один (главный генерал) велел свезти пушки с укреплений самого большого размера, это было исполнено с большими затруднениями, но эти пушки, вот уже неделя, лежат внизу укрепления неприбранные! — И несмотря на то, приступ был отбит, а Севастополь все-таки отдали. Конечно, хуже всех врагов Горчаков, Долгоруков, Нессельроде, как от них защититься!.. В таких-то толках и разговорах, в самом безотрадном расположении духа провели мы целый день. Вечером мы вздумали с Соничкой одни съездить ко всенощной, туда доехали благополучно, помолились, но на обратном пути со мной случилось не совсем приятное происшествие, но которое по милости Божией, кажется, не будет иметь слишком дурных последствий. Было уже очень тихо, на мосту лошади наши не пошли, потому что в постромки запутались, надобно было выйти из коляски; нам показалось, что коляска катится назад, мы поспешили сойти с моста, в одном месте не было перил, я приняла это за окончание моста и пошла в сторону, только что сделала один шаг, оборвалась и упала в ров недалеко от реки; хорошо, что тут обрыв рва остановил мое падение; не помню, как я вышла оттуда.

Константину было сообщено письмо Вяземского, ему оно также было очень приятно, кроме одного выражения, которое его остановило, именно: *надобно, чтоб был один пастырь и одно стадо* (говоря о Министерстве просвещения и об обществе). Выходит, что министерство будет нас пасти; нам же показалось, что это только дурное выражение, а мысль была другая, но впоследствии оказалось, что мы ошибались. Решено было, что Константин на другой день опять поедет в Москву для свидания с министром.

4 сентября. В воскресенье рано получили почту: письмо от Ивана, от Гильфердинга, московские газеты и иностранные журналы. Депеши Горчакова, что неприятель не занимал еще Севастополь два дня спустя после нашего отступления и что Горчаков взорвал сам укрепления наши, не дожидаясь прихода неприятеля, возмутили еще более всех; явно, что Севастополь отдан даром, разрушен без нужды и без вре-



Вера Сергеевна Аксакова

да неприятелю; а сколько было потрачено сил, времени, труда на укрепления его, каждый дом был укреплен и дорого бы достался неприятелю. Право, все это объяснить трудно иначе, как изменою.— Не сам Горчаков, так окружающие его.— Называют же генерала Жабокрицкого как изменника; говорят, его поймали казаки.— Прочтя депешу Горчакова, еще тяжелее стало на душе.

Иван пишет из Новгород-Северска, хлопот ему множество, и он хочет по приходе в Киев сдать должность казначея, если же придется зимовать в Киеве, то он хочет совсем оставить ополчение. Видно, у них много неприятностей с дружиной, ратники пьянствуют и буянят; и говорят, везде почти так же, особенно как добрались до дешевой и крепкой водки, не знают, как с ними и сладить. Строганов осматривал их в Новгороде и сам рассказывал Ивану, что Дмитровская дружина Голицына (Леонид) идет совсем иначе. Голицын ведет их, как на богомолье в Киев, и потому нет ни пьянства, ни буйства, и везде служат молебны.— Мы знаем, что и здесь Голицын вместо пробного похода водил свою дружину на богомолье за 12 верст; это прекрасно и умно, что он дал такое значение походу.— Но вообще Иван представляет жалкую и грустную картину всего положения дел.— Жители большей частью очень не рады этим гостям, говорят: «Что нам турки, что свои — не легче», и т.д. Священники, будучи обязаны встречать с крестом дружины, часто просят дать расписку, что они выходили встречать, и т.д. Иван более всего винит самих офицеров и говорит, что надобно прежде всего перевоспитать их.

Гильфердинг пишет из какого-то местечка недалеко от Праги, пишет о жажде сообщения и знания русской действительности, которая существует в этих местах, и о совершенном недостатке средств удовлетворить этой жажде, о равнодушии русских в этом отношении; заключает тем, что просит прислать книг русских, хорошо написанных, в том числе, конечно, отесенькиных и константиновых, просит сестер списать разные списки стихов Хомякова и других, просит вырвать «Библиографическую хронику» из «Отечественных записок» и т.д. Словом сказать, не только сам принял деятельное участие, но и других подвинул к тому же. Честь

и слава ему, это великое достоинство.— Константин и сестры немедленно же исполнят его поручения.

Константин, воротясь из Москвы, принял решение начать писать к государю о том, что необходимо сменить Горчакова, указать на Ермолова как на единственное народное имя, и вообще высказать мысли о настоящем положении, о том, что Севастополь временно уступлен, и т.д. Он и написал это письмо и взял его с собой в Москву. После же его отъезда прочли мы иностранные журналы и увидали из них еще яснее, что у нас идут сношения с Австрией и иностранными державами, что мы все уступаем; чуть ли Севастополь не был отдан единственно для благосклонного взгляда Австрии. Константин уехал в Москву рано утром.

После отъезда Константина приехали Пальчиковы от обедни, оба возмущенные, пораженные страшной вестью. Николай Васильевич, несмотря на свой положительный характер и свое благочестие, говорит: «Мы не можем даже иметь утешения римлян всадить себе пулю в лоб». Все думают, что Горчаков или будет разбит, или, что всего вероятнее, неприятель высадится в Евпатории, окружит его, и Горчаков с торжеством положит оружие. Пальчиков выходит из себя и говорит, что надеется, что найдется кто-нибудь, кто свяжет его по рукам, и армия его не будет слушать. К несчастью, вряд ли это возможно.

5 сентября. Нам прислали сказать из Хотькова, что ждут государыню к вечерне. Сестры поехали, но понапрасну: государь и государыня проехали на другой день прямо к Троице, потому что дорога в Хотьков в самом деле ужасна и еще хуже сделалась от поправления, потому что дождь размывал все, что накладывали. Маменька с Наденькой ездили к Пальчиковым прощаться, видели только одну Марью Алексеевну.

6 сентября. Константин воротился из Москвы вполне разочарованный насчет министра. Под впечатлением письма князя Вяземского Константин приехал к министру и с полным доверием стал ему говорить, чего он желает. Норов, что и Вяземский, говорил ему, что правительство готово исполнить это желание, но надобно доказательство, ручающееся за его благонамеренность, что его статья о родовом быте самая вредная и т.д. Константин сказал, что он от своих убеж-

дений не отказывается, что его статья не заключает в себе, по его убеждениям, ничего вредного. Константин был так поражен его речами, что не вдруг мог понять смысл их. Разумеется, Константин держал себя свободно и говорил прямо и твердо. Не помню подробности разговора. Знаю только, что Норов, наконец, сказал: «Вяземский мне о вас сказал совсем другое, а теперь я вижу по вашему образу мыслей, что он совершенно ошибся».— «Что же я такое сказал, что вы можете заключать о моем образе мыслей?»—спросил Константин.— «Вы ничего не сказали,— отвечает Норов,— но я недаром жил на свете и умею узнавать людей не только по словам их». Константин, видя, что разговор идет слишком далеко, сократил его, сколько возможно, и сказал, что он видит, что ему нечего ожидать и т.д. Между тем в продолжение разговора этот... Норов с голосу, видно, твердил, что цензура у нас дошла до нелепости, что скоро выйдут новые инструкции цензорам; и тут же — что хотя он очень любит Хомякова, но его стихи к России очень вредны и что «стихи «Бродяга», брата вашего, тоже никуда не годятся»,— «Что же такого в «Бродяге» вредного?»—сказал Константин. «Как же, он выставляет в таком привлекательном виде бродяжничество». Что после этого говорить! «И это министр народного просвещения,— справедливо сказал Константин,— он лично министр, но только *народного помрачения*». Чего тут ждать!—Конечно, очень жаль, что Константин с ним виделся, потому что эта попытка совершенно закрыла даже возможность в будущем получить снятие подписи и убедила этого сумасброда, что Константин и ему подобные просто бунтовщики, по крайней мере, он едва не высказал этого. Прощаясь, он несколько старался сгладить свои речи и подал руку. Константин был взбешен и огорчен.— Вести все те же. Государь переменил маршрут и, вместо Варшавы, едет в Николаев, куда еще 3-го числа уехал Великий князь Константин Николаевич. Говорят, великие князья были у Ермолова, и он им сказал: «Спасайте Николаев».— Погодин видел Великого князя Константина Николаевича в Оружейной палате в день его отъезда и говорил с ним долго, но разговора не рассказывает; Погодин только передал эти слова: Константин Николаевич, прощаясь с Погодиным, взял его за

руку и сказал: «Благодарю вас и всех, кто имеет ко мне доверие» (или надеется на меня, не помню хорошенько). Эти слова странны. Вероятно, они были вызваны словами Погодина, во всяком случае, со стороны Константина Николаевича они не совсем осторожны.— Государь принимал купцов очень ласково, но Черткову сказал: «Я очень люблю быть благодарным, но, к сожалению, мне не за что вас благодарить». Впрочем, потом по доброте своей ему стало жаль, и он сказал Закревскому, чтобы он уверил Черткова и дворянство московское, что он не сердится. Капниста удалили из губернаторов, но зато сделали сенатором. Говорят, что подтверждаются слухи об измене генерала Жабокрицкого, его поймали казаки в то время, как он переговаривался с неприятелем; что в этом деле не без измены, в этом мудрено сомневаться. Приемом государыни все довольны, говорят, будто бы она не велит себя иначе называть, как madame, разговаривала просто о вещах дельных, не так, как прежняя государыня, которая тоже приехала, остановилась в так называемой Александрии, почти за городом, т.е. в своем дворце, возле Нескучного сада; говорят, государя окружает целая семья Адлербергов, Долгоруковых, Барятинских и образуют camarill'ю, сквозь которую нет к нему доступа; говорят, сам Бажанов, духовник государя, сказал с отчаянием: «Какие люди окружают его!»—Каковы наши сенаторы — отличились! Один из них сам рассказывал, что они представлялись целым Сенатом государю, представившись, вздумали зайти поклониться Орлову, Адлербергу и, наконец, к Долгорукову. «Я было не хотел,— говорит Казначеев,— но меня уговорили». И так в целом составе явились они к этому мальчишке перед ними, который прежде был всех моложе чином, человеку, который обязан своим повышением княгине Марии Николаевне и который так губит Россию. Но зато он их так принял, что они сами не рады были. Он принял их стоя и едва кивнул им головой, одному кому-то сказал: «А помнишь, как я был под твоей командой?» Потом кивнул еще раз всем головой, сказавши «прощайте», и сенаторы удалились. Вот подлость, которой нет названия, не вынужденная, непрошенная, так из удовольствия подличать. Получены журналы иностранные, напечатана статья из «Journal des Debats» о Горчакове, по

поводу найденного на Реаде его плана сражения и инструкций. Надобно отдать справедливость французам, они с благородным негодованием говорят о недостатках, или, лучше, о совершенной неспособности неприятельского главнокомандующего; им, конечно, выгоднее, что такой неспособный генерал командует нашими войсками, делает ошибки, губит войска без нужды, в глазах своих дает их истреблять, не посылая им подкрепления, тогда как возле него стоит резервный корпус в 30 000; но они беспристрастно возмущаются этим и, конечно, удивляются, что целая армия и судьба России вверены такому человеку. Боже мой, Боже мой, хотя бы поверили иностранным отзывам о Горчакове! Но ничто не помогает.— Еще в начале войны при Николае Павловиче англичане объявили, что им *нечего бояться, пока Нессельроде управляет русской политикой, потому что Нессельроде вполне разделяет взгляды Англии* (Сеймура конфиденциальное донесение). И что же, Нессельроде и теперь продолжает действовать так же и губить Россию. Божие наказание явно во всем!

7 сентября. Государь с государыней проехали к Троице, а за ними все великие князья и княгини, еще вдовствующая императрица, принцы и принцессы.

На другой день, 8-го числа, Константин с Надей и Соничкой поехали к Троице, чтоб их видеть, но в церковь не решились взойти, потому что в дверях было тесно, впрочем, они очень жалели после, что не пробрались, потому что в самой церкви было просторно и вдоволь бы там нагляделись на государя и государыню, слышали бы молебен и молитву Филарета, которую он произнес к преподобному Сергию и которая всех заставила плакать. Государыня же, говорят, заливалась слезами. Наши простояли три часа на площади и видели их только, как они прошли мимо них. Государь был так же печален, и поражал всех и худобой, и грустью, которая выражалась у него на лице. Накануне они были у всенощной, служили молебен и так же все усердно молились, а за обедом Филарет вручил по просьбе государя образ складной на доске от гроба преподобного Сергия, который был прежде в походе с царями Алексеем Михайловичем, Петром Великим и с Михаилом Федоровичем. О, да поможет нам своими

святыми молитвами преподобный Сергий, как помогал он столько раз Русской земле в тяжкие времена! Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас! Наши воротились к обеду. Получены газеты и письма, в газетах почти никаких известий. Горчаков выводит всех из терпения своими донесениями, что в Крыму ничего нового не происходит.— Неприятель уже начинает занимать Севастополь.

Письмо получено от Трушковского из полтавской деревни. Везде только бедствия и бедствия, в тех губерниях и неурожаи, и засуха, и болезни и, наконец саранча в Херсонской губернии поела все, что и было.—Это древние казни. Видимо — над нами гнев Божий.

Константин написал к Вяземскому письмо, в котором он говорит о впечатлении, произведенном на него Норовым, что письмо его, т.е. Вяземского, возбудило в нем надежды и желание содействовать по мере сил, но что после свидания с министром он вполне убедился, что никакая литературная деятельность невозможна, что все его надежды разлетелись и т.д. Константин, несмотря на наши убеждения, все-таки прибавил, что просит его, т.е. Вяземского, передать министру, что он никогда не отречется от своих убеждений.

В газетах напечатана статья Вяземского, которая привела нас в отчаяние. Так вот его взгляд, вот чего он хочет, что он подразумевал под словами своими в письме к Константину, что должен быть един пастырь и едино стадо, т.е. что министерство будет по своему позволению управлять не только цензурой, но и направлением литературы, *мыслями* авторов. До сих пор их стесняли в выражениях, а теперь хотят и мысли их сделать казенными, и все их внутренние движения души.— Правительство наше себе даже приписывает русское направление, хочет забежать вперед всякому живому движению, даже в литературе, и парализовать его, наложивши на все казенную свою печать. Конечно, таким образом они разгонят всех честных и истинных русских двигателей мысли и направления. Им нужны Майковы, вот идеал их русского направления и благонамеренного казенного писателя. Майков, который писал еще при Николае Павловиче, что надобно только русского человека для его совершенствования «во фрак одеть могучий стан», а при Александре Николаевиче

восхваляет Москву и поклоняется Николаю Павловичу. Этот Майков хотел было летом приехать знакомиться в Абрамцево, но ему посоветовали этого не делать.— Чего ждать от Вяземского. Это хуже, нежели гонение на литературу, намерение сделать ее казенной.— В этих же газетах, так между прочим, сказано, что австрийский эрцгерцог назначается шефом одного полка. Каково, в такое время такая подлость перед австрийцами! Чего же ждать после этого!

Воротились наши девушки от Троицы, ходили Богу молиться, а между тем и насмотрелись вдоволь на государя и государыню и всех князей, княгинь и принцев. Государыня, как они рассказывают, плакала, как потерянная; народ говорит, что она плачет оттого, что провожает государя на войну; государь тоже очень печален. Они приехали вместе и ходили везде под ручку. Везде молились усердно, со слезами. Когда государь шел между народом, то просил всех не кричать громко. «*Тише, тише*». Народ говорит: «*Ему не нравится, что мы кричим не складно, не по-солдатски*». Тут был один раненый солдат из Севастополя, государь расспрашивал его долго, дал ему денег и куда-то его велел поместить. Наследник, очень небольшой, худенький мальчик, разговаривал с солдатами. «Послужите моему папаше, вы хотя стары, но нечего делать, некем взяться, теперь скоро кончится война». Я передаю рассказы девушек. После уже услыхали мы, что они между собой рассказывали: «Вот и государь на всех не угодит, народ его так и пушит, пушит. Вот, говорят, Севастополь отдал — приехал Богу молиться». Они нам не хотели и рассказывать этого. Поразительно это явление, оно меня обдало каким-то ужасом, страшный приговор. Он молится, плачет, а народ немилосердно произносит ему суд, как бы не благословляя его молитвы. Несчастный государь! Страшно что-то роковое преследует его. Господи, помилуй нас! Государыня Мария Александровна одета чрезвычайно просто, государыня Александра Федоровна с седыми локонами, в grande tenue,— по-прежнему. По отъезде государя с женой Александра Федоровна служила в соборе панихиду по Николаю Павловичу, велено было растворить все двери, впустить народ, раздать всем свечи, так что и вне церкви стояли и молились.

Их столько наехало к Троице, что должно было занять квартиры ректора и инспектора и т.д. Говорят, новый двор отличается не только отсутствием роскоши, но и расчетливостью; все хорошо, потому что слишком много даром тратилось денег, но не дай Бог скупости — это нехорошо.

9 сентября. С почты одни московские газеты, депеш от Горчакова нет, невыносимо томительно это неизвестие, да и депеши бывают такого рода, что только возмущают своей неудовлетворительностью. Донесения Муравьева совсем другого рода, в этом номере есть от него донесения.

10 сентября. Сестры пошли пешком к Троице, а маменька поехала туда же ко всенощной и завтра после обедни воротится. Было довольно тепло, хотя и ветрено. После обеда мы сидели, отесенька, Константин, Машенька и я, в гостиной, когда приехала Прасковья Андреевна Васькова из Москвы. Она проводила мужа из Москвы и очень грустит. Рассказывала некоторые подробности о впечатлении после известия о сдаче Севастополя; все были поражены и возмущены до крайности, все кричали против Горчакова, называли его изменником, нашли, что и отец его изменник (но это не отец его) и что он сам женат на англичанке (и это, впрочем, ошибочно). Кто говорит, что лавки на Смоленском заперли, по случаю ужасного известия.

Но вообще народ был смущен, огорчен и недоволен, особенно купцы явно высказывали. Федор Иванович Васьков представлялся государю; он спросил только, какого ополчения. Государь сделал смотр Вологодскому ополчению и остался очень доволен, а оно, говорят, хуже Костромского. Вологодская одна дружина, что пришла, то разбила кабак — на Воробьевых горах. Государь уехал в ночь с братом Михаилом Николаевичем в Николаев; прежде них туда же поехал и Николай Николаевич! Что-то они там сделают! Хорошо, если б сменили, по крайней мере, Горчакова: иначе наша армия погибнет.

Нового министра Ланского хвалит Прасковья Андреевна, она его знала еще, когда он был губернатором в Костроме; говорят, честный, благородный, умный человек, но аристократ и горд. Он сказал речь своим чиновникам, говорят, очень хорошо. Прасковья Андреевна Васькова знает также хорошо

Муравьева, главнокомандующего в Азии, и много про него рассказывала,— человек бесспорно умный, но такой чудак, что трудно вообразить себе; человек холодный, даже жестокий, а между тем способный оценить душою доброе внимание. Жена его чудачка еще более его, она — урожденная Чернышева.

На другой день, т.е. *11-го в воскресенье,* воротились наши от Троицы, привезли много писем, московские газеты, иностранные журналы. В «Journal de Francfort» объявлено, что мы оставили Петропавловск при приближении английской эскадры; мы знали еще летом, что решено было его оставить, но что в этом утешительного, если мы таким образом предоставим все свои берега во владение врагам своим! А в наших газетах еще не было.— В «Московских ведомостях» замечательная статья Погодина о пребывании государя в Москве (ему было поручено написать). Хотя эта статья начинается довольно пошлым тоном и без особенного достоинства, и в самой статье есть выражения вовсе лишние, несправедливые и слишком верноподданные, но вся статья замечательна свободным, открытым языком, которым говорится с государем и о государе, о настоящих событиях, о настоящем положении России, о ее потребностях и т.д. Оканчивается статья: мы ожидаем от тебя новых указаний, поощрений, льгот, наряду. (Это слово немногие поймут в смысле порядка.)

Но что значат все эти статьи. Ведь если они и пропущены, так они все-таки ни к чему не обязывают, а только еще более вводят в заблуждение нас, легковерных, которые хотят из всякого явления вывести себе какое-нибудь последовательное заключение и строят беспрестанно воздушные замки на таких непрочных основаниях. Этим только нас мажут по губам и заставляют пребывать в приятном ожидании. Рескрипт государя к Закревскому о благодарности государя к Москве очень хороший: видно, что он человек прекрасный, душа, способная чувствовать все доброе, но нет энергии, нет силы, а это для государя плохо.— Я, признаюсь, начинаю терять всякую надежду и часто сильно сержу Константина и других своими нерадостными заключениями. Константин особенно все еще надеется на государя и ждет от него много добра. Не-

выносимо больно читать и убеждаться, что Горчаков даром отдал Севастополь. Сами враги наши этого не ожидали. Каково их торжество, и каково наше горе, безутешное и бесполезное сокрушение! Неужели не сменят и теперь Горчакова? Но как им сменить, когда сам государь дал на то согласие! Это невыразимо возмутительно! — Ясно, что надеялись, отдавши Севастополь, заключить мир, или по крайней мере приобрести союз с Австрией. И право, мне кажется весьма вероятным, что и в сдаче Севастополя не без участия Нессельроде, для которого Севастополь был препятствием для заключения союза с Австрией и спасения ее! Ну, право, я не могу поверить, чтоб тут не было измены и подкупа. Кого ни спросите о Нессельроде, всякий говорит самым утвердительным тоном: «О, Нессельроде, известно, самый корыстный человек!» Если он корыстный человек, то неужели он мог устоять от подкупа, который, конечно, не преминули ему предложить наши враги, особенно зная его корыстолюбие.— Все его действия до сих пор только клонились к гибели России, к унижению ее и к пользам врагов наших. Одно это выражается в его прежней депеше — uniquement pour les interets de l'Autriche et de l'Allemagne nous faisons un immense sacrifice, разве не оправдалось теперь: мы избавили Австрию от войны, которая была бы ей гибельна, и намеренно привлекли войну на свою землю. Сохраняя безопасность Австрии, мы погубили Россию. О Боже мой, это невыносимо, и этот Нессельроде продолжает управлять всем! И Долгоруков, и Горчаков — все трое губят Россию и сотни тысяч несчастных безнаказанно в глазах всех. Божье наказание. Ужасное время!

12 сентября, понедельник. Оленька хочет воспользоваться хорошей погодой и переехать заранее в Москву к Занден, покуда мы не сыщем дома. Завтра мы едем.

13 сентября. Мы поехали в Москву, т.е. Оленька, Константин, Любинька и я; приехали благополучно; разумеется, Оленька устала, устроились у Занден. Мы с Любой успели еще сходить ко всенощной в наш приход накануне Воздвижения; служат очень хорошо и молятся усердно. На другой день, т.е. 14-го, были у обедни и также остались довольны. Потом я ездила с Константином к Погодиным, но его не было в Москве, он поехал проводить Уварову в ее деревню. Са-

шенька Погодина сказала только, что Михаил Петрович один раз показывал наследнику Москву, очень хвалил наследника: в этот день он обедал вместе с детьми государя. К ним всходил Великий князь Константин Николаевич и спросил детей, хорошо ли их кормят? Один отвечал: сегодня-то хорошо, а не всегда так. В другой раз Погодина приглашали, но он отказался, потому что хотел ехать за Уваровой. Накануне Томашевский рассказывал Константину, как сильно перетревожила придворных статья Погодина, которые особенно недовольны его влиянием. Томашевскому рассказывал кто-то из них с неудовольствием, что Погодина очень ласкают, что он был у императрицы Марьи Александровны и говорил с ней часа три (это, впрочем, несправедливо) и что поговаривают об том, что Погодина сделают воспитателем.

Вообще статья Погодина произвела большой шум; большей частью все довольны, но знать и придворные перетревожились не на шутку, особенно потому, что князь Долгоруков, которому за болезнью Адлерберга должен был Погодин подать свою статью на рассмотрение, не соглашался пропустить ее в том виде, как она была, и просил Погодина изменить некоторые выражения, но Погодин не согласился; одно только изменил, вместо «Государь, дай нам средства учиться» и т.д. он поставил: «Государь, ты даруешь нам много средств и т.д.» Долгоруков не соглашался, и Погодин не уступал, просил его показать государю. Государь прочел и, видно, со вниманием, потому что поправил даже ошибку Погодина в годе: он упоминает о 1837-м, а это был 1838-й, и подписал *«Можно»*. Долгоруков вышел с извинением, что он, вероятно, не так понял его слова, что государь одобрил и т.д.

Вести из Крыма самые дурные, а ожидают еще худших: все думают, что Горчаков даст себя отрезать и погубит армию или положит оружие.— Петропавловск точно оставлен, но говорят, что это очень хороший с нашей стороны военный маневр. Англичане бесятся, что проглядели наши корабли.— Враги наши торжествуют; впрочем, довольно странно, что даже во Франции фонды упали, и в народе не заметно особенной радости. Что бы это значило? Испугала ли сама победа над таким сильным противником, или усилившееся могущество одного человека, как Луи Наполеон, или неизбежность

продолжения войны, только это подтверждают все журналы и даже «Монитер» старается объяснить это тем, что первую минуту нельзя было понять огромность победы и следствие ее. И точно, следствия ее неисчислимы и для нас, и для них, для нас самые горестные, для них самые выгодные. Подробности этого несчастного дня еще не напечатаны, но напечатан приказ Горчакова по армии, который я не имела духу дочитать с первого раза: так он возмутил мою душу. Очевидно, что Горчаков должен был оправдаться, но его оправдание вдвое более его обвиняет. Ясно видно из его собственных слов, что он не допустил отбить Малахову башню, потому что *во всяком случае решился сдать Севастополь* и что теперь у него руки развязаны, что теперь они сразятся в поле, что гораздо более свойственно русской армии, и т.д. и т.д. Немного надобно иметь здравого толку, чтобы понять всю бессмысленность этих слов, и тому подобных, что в 1812 г. была *отдана Москва,* а теперь и Севастополь *отдан,* и что, щадя драгоценную кровь, он решился сделать это и т.д. Как будто он ее этим сохранил, что сбросил единственную точку опоры во всем Крыму, как будто он не вдесятеро более и бесполезнее прольет ее теперь, когда они даже не защищены укреплениями. О, бессовестный лгун, кого он думает надуть этим? И разве все равно Москва, что Севастополь? Москва в середине земли, могли ли там долго оставаться враги; Москва не была ни укреплена, не была в продолжение целого года защищаема так беспримерно, так геройски; а Севастополь на краю моря, которым вполне владеют наши враги.— В Севастополе они могут навсегда утвердиться, и мы тогда, конечно, их уже оттуда не выбьем; вместе с Севастополем мы теряем флот и Черное и Азовское моря. В Севастополь стеклись все силы, все средства для обороны в России, все нравственное значение и сила привязывались к его защите; сколько неимоверных трудов, нечеловеческих подвигов было поднято за его защиту, сколько драгоценной крови пролито, какое право имел он пренебречь всем этим, когда он мог бы его удержать? Везде приступы были блистательно отбиты, но он сам говорит, что решился *во всяком случае оставить Севастополь.* После этого, разумеется, можно себе вообразить, будет ли человек употреблять все усилия, чтобы удержать, отстоять

то, что он решился отдать *во всяком случае*. Ему, напротив, нужно было уступить Малахову башню для того, чтоб иметь предлог оставить Севастополь, что даже говорят иностранные журналы *pour avoir le pretexte l'etre force d'abandonner la ville*. О, злодей, нет слов и названия достойного его... Говорят, не он виноват, а Коцебу: для меня все равно,— он не разделен со своим мошенником Коцебу, которого и тут еще имеет дух восхвалять. И мы смотрим на то, как гибнут сотни тысяч людей жертвой таких злодеев, и гибнет вся Россия! Сердце разрывается на части.— И это допустил сам государь! Не могу с этим примириться.

И как он просто лжет в своих донесениях, этот Горчаков! Отдавши Севастополь, он писал, что теряет каждый день по 2500 человек, а тут выходит, что в три или четыре дня последних потерял всего 3000 с чем-то.

Говорят, Горчаков хороший человек. Нет, он не хороший человек, потому не отказался давно от начальства; если бы он был добросовестный человек, то он не взял бы на себя такой ответственности; особенно он сам писал еще в начале войны, что он всегда несчастен, что все его действия неудачны. О, когда-нибудь тут откроется более намеренного, нежели случайного! Если не он сам, то окружающие его и высшие распорядители...

На другой день Константин пошел вечером узнать в дом Самарина, не там ли его брат. Каково было его удивление, когда он нашел там Юрия Самарина, и каково было его поражение, когда тот сказал ему, что он идет в ополчение. Он не желал, разумеется, но был выбран и не захотел отказаться; меньшого же брата своего, скромного и молодого человека, он не хотел пустить вместо себя, потому что и в Оренбургской и в Самарской губерниях уже получены предварительные бумаги об ополчении и что легко может достаться кому-нибудь из наших, особенно потому, что дворян так мало в этих губерниях. Самарин совершенно убит настоящими событиями, ничего, разумеется, доброго не ожидает и говорит, что хотя не желал ополчения, но покоряется ему с мыслью, что будет, по крайней мере, чувствовать на себе также часть тягости общей. Он еще мечтал, что может принести какую-нибудь пользу, что это будет случаем сблизиться с народом,

но когда Константин сообщил ему, что пишет Иван, как ратников искажают скоро все офицеры, какое вредное они имеют на них влияние, каковы сами офицеры, как в этой безобразной массе ничего не значит голос одного человека,— Самарин вполне согласился. Много они разговаривали, и неутешительными были их сообщения друг другу. Самарин не ожидает ничего ни от кого. Самарин вскочил с места, когда Константин подтвердил ему слух (которому Самарин не хотел верить), что австрийскому эрцгерцогу дан полк! Приехал в Москву князь Васильчиков, который говорит, что бомбардирование было невыносимо, что у Горчакова бывают прекрасные мысли, но что его сбивает Коцебу, который и вор, и трус. (Видимо, что Васильчиков старается защитить Горчакова, но не все ли равно, или даже для всех нас не хуже ли, что Горчаков благонамеренностью своей прикрывает мошенника.) Курское ополчение сражалось отчаянно топорами, и из двух дружин много выбыло народу. Самарина брат ранен навылет в обе ноги; это счастливо, а брату Лидии Воейковой (молодой человек, 18 лет) должны были отнять ногу. Ужасно, ужасно!

Константин воротился поздно домой, но я еще не спала. Как поразило и огорчило меня известие о том, что Самарин идет в ополчение, и за него, и за нас, и главное испугало меня назначение ополчения в Самарской и Оренбургской губерниях. Сохрани Боже, если братьев выберут, особенно Константина! Гриша может быть квартирмейстером, а Константин неужели фронтовым офицером? Боже мой, обидно за таких людей, что они должны употребить себя на такие дела, которые лучше них исполнит всякий, а они понапрасну оторвут себя от своей полезной деятельности. И что это за ополчение: это — рекрутский набор с дворян, и все это на жертву Горчакова для того, чтобы он мог постоянно отступать с большим успехом. Это возмутительно. Подымая ополчение, должно было, по крайней мере, уважить их выбор главного начальника. Зачем не назначили Ермолова! Такая унизительная, бессмысленно веденная война хуже унизительного мира.— Боже мой, как все становится страшнее и общие современные обстоятельства все ближе к каждому.

Про Бибикова рассказывают, что его отставка была следующим образом. Бибиков не просил аудиенции у нового государя в продолжение 6 месяцев. Государь перед отъездом наконец призвал его и сказал: «Что это значит? Дела в вашем министерстве идут дурно, а вы до сих пор не просили у меня аудиенции?» — «Что дела в министерстве идут дурно, это совершенно справедливо, но они и не могут идти иначе, когда министр не пользуется доверием государя», — отвечал Бибиков. «Это правда, — сказал государь, — и потому я уже приготовил человека, чтобы заменить вас». — Вслед за этим последовало увольнение из министерства, и государь уехал. Вслед за ним в Москву Бибиков послал просьбу об увольнении его из всех должностей, что и было исполнено, и Бибиков, говорят, теперь ходит в штатском платье. Отставка Бибикова обрадовала, говорят, всех, но кажется, радоваться нечему: других отставок, как ожидали в первую минуту, до сих пор не последовало и вряд ли последует, а Бибиков отставлен за то, что был за эмансипацию. Конечно, большая часть помещиков радуется тому, что свободнее будут управляться со своими крепостными.

Целый день в Москве употребили мы на искание домов, много пересмотрели. Возвратившись один раз, усталые, домой, мы были так обрадованы известием, которое сообщила нам Оленька (был Казначеев и передал его, как самое верное), что Лидерс, наконец, назначен на место Горчакова. Нельзя передать нашей радости, на душе отлегло. «Слава Богу», — сказали мы, точно услыхали о победе; и в самом деле это стоило бы победы. Казначеев звал Константина к себе, потому что ему хотелось сообщить ему многое; Константин тотчас же поехал. Казначеев сказал ему, что знает из верного источника, что теперь начинается настоящая война, признан истинный смысл ее, что поручается Лидерсу команда, что Горчаков на место Долгорукова, что Долгоруков на место Орлова, что Остен-Сакен на место Лидерса. Признаюсь, эти перемещения стольких людей зараз заставили нас усомниться в истине первого и уменьшили нашу радость. А как необходимо было бы сменить Горчакова, в этом можно было удостовериться по тому чувству радости и одобрения, которое каждый испытал при этом известии. И как это возбудило бы расположение к

государю! Как освежила и одобрила бы эта перемена наше несчастное войско, которое видит, что под командой Горчакова величайшие подвиги храбрости остаются бесполезны... И все-таки они отбили Севастополь, а он отдал!..

Один вечер просидел у нас Томашевский. Константина не было дома. Томашевский взял на себя обязанность оправдать перед нами Закревского, но вместо того, несмотря на все его старания, проговорился сам и таким образом убедил нас в совершенно противном.— В Москве все говорят, что если виноват Капнист в поставке сукна, то и Закревский не безгрешен; Томашевский силился доказать противное, сказав ему: «Может быть, вы и правы в этом случае, но зачем могут существовать такие обвинения, я представляю вам общий голос, а он против Закревского». Речь коснулась Ермолова, Томашевский пустился обвинять Ермолова за его письмо и стал рассказывать, как дело было, что Закревский спросил только частным образом сына Ермолова, думает ли его отец баллотироваться, потому что он слышал, что Москва хочет его выбирать, и вдруг на другой день получает такое письмо от Ермолова, которое Ермолов поспешил распустить в ту же минуту по городу; что это поступок скверный и что само письмо вредное, потрясает права царя, возмущает против его власти. «Ну и, может быть, Закревский донес о нем»,— прибавил Томашевский, вероятно, думая, что мы о том уже слышали. Конечно, достаточно было этих слов, чтоб объяснить нам, в чем было дело: этот подлец Закревский донес на Ермолова, что он опасен, особенно может быть, если ему дать власть и команду, что он бунтует против законной власти и т.д. И, вероятно, помешал назначению Ермолова на более важное место, и — какая мерзость! — все из личной вражды. До сей поры, говорят, они были в хороших отношениях. Мы с Любой горячо спорили с Томашевским, и так как он был не прав и тоже из личных отношений (сын его служит у Закревского) защищает неправду, то часто он не знал, как возражать, так что нам было забавно видеть его усилия переубедить нас.— Константин опять был у Самарина и видел там Михаила Оболенского, который ему объявил, что Великая княгиня Елена Павловна желает познакомиться со всеми замечательными и умными людьми в Москве и просила его доставить ей случай познакомить-

ся с Константином. Михаил Оболенский говорит, что Елена Павловна не требует никакого этикета, принимает у своей фрейлины баронессы Раден, что она знает все и почему Москва не оказала рвения и сочувствия к ополчению. Константин недавно писал об этом к Дмитрию Оболенскому, и, вероятно, тот ей прочел письмо. Константин не только оправдывает, но считает даже особенным указанием, что Москва показала равнодушие. Оболенский сообщает, что как скоро Константин приедет из деревни, он это устроит. Оболенский самым убедительным образом упрашивал Константина согласиться на это приглашение, но Константин не хотел, и Самарин подсмеивался, что его будут показывать, как медведя, и т.д. К тому же Константин думал, что мы на другой день рано едем назад в деревню. Оболенский просил Константина сказать, где он остановился, предлагал проводить, но Константин не сказал ему своего адреса и не дал ему себя проводить до дому. Впрочем, воротившись домой, Константин сам нашел несправедливым такое упорство и почти согласился внутренно на это предложение. Когда же сообщил об этом приглашении нам, то мы все так на него напали за нелепость и детскость такого упрямства, что он легко согласился, тем более что мы должны были провести еще день в Москве. Вследствие чего Константин и написал к М. Оболенскому, что соглашается.

Нанимаем дом; уезжаем 17-го. Приезжаем домой в 6-м часу к обеду. Разговоры, чтение журналов, иностранных газет и «Московских ведомостей». Государь 9-го уехал из Москвы. Приехал дядя Аркадий Тимофеевич, привез много рассказов о выборах в Симбирске, о Самарине и о предстоящем ополчении в Самаре и Оренбурге.

25 сентября. Гости, письма, газеты.

26 сентября. Все разъезжаются. Маменька едет с Наденькой и Любинькой в Москву.

27 сентября, вторник. С почты один «Journal de Francfort»,— № 32 не прислан, причина тому — статья о государе.

Среда 28 сентября. Приехал утром Гиляров, рассказывал о книге странствий Парфения.

Четверг, 29 сентября. Получены письма от маменьки из Москвы.

30 сентября. Константин ходил пешком к Троице, привезены два письма от маменьки, газеты. «Journal de Francfort» сообщает, что флот появился перед Одессой.

2 октября. Письма маменьки и сестер о Самарине. Депеши из Крыма и из Николаева. Враги идут на Бахчисарай. Много было толков и рассуждений. В «Московских ведомостях» напечатан, наконец, циркуляр Ланского к предводителям, который так все хвалят. Это аристократическое направление огорчает нас. Роковое ослепление, недостаток сочувствия к народу и славянам. Ланской успокаивает дворян в том, что он будет поддерживать их права, и т.д.[1]

3 октября. Сегодня рано приехал посланный из Москвы и привез нам письмо от маменьки с такими вестями, которые поразили нас и смутили до крайности. *Одесса* взята, т.е. ее

---

[1] Отрывку дневника со слов «Нанимаем дом» и т.д. соответствует следующее, более пространное изложение, которое находится в рукописи дневника, но писано неизвестной рукой: «Нанимаем дом; уезжаем 17-го; приезжаем домой в 6-м часу к обеду. Разговоры, чтение журналов, иностранных газет и «Московских ведомостей»; депеши Горчакова, журнал военных действий, но с исключением 27-го числа, описание которого обещано после. Государь 9-го уехал из Москвы. Приезд дяди Аркадия Тимофеевича. Вестей от Горчакова нет. Известие о назначении Лидерса не подтверждается. Пребывание дяди Аркадия с семейством. Чтение, разговоры, отчаяние насчет России, порча даже в крестьянах. Рассказы о выборах в Симбирске, о Самарине, о предстоящем ополчении в Самаре и Оренбурге, о пальто для ополчения. Поход в Индию — Перовского в Азию.— Письмо Ивана об ополчении, о том, куда оно назначено, о неудовольствии войска во время сдачи Севастополя.— Чтение отесенькиной тетради, Константиновой статьи о России, впечатление.

25 сентября. Гости, письма, газеты. Донесение Горчакова, победа какая-то в Азии; прежде еще донесение Горчакова о 27-м числе; ясно видно, что он без нужды отдал, и все ложь и ложь и проч.— Письмо от Оленьки, о Погодине, о его статье. Слово Ап. Вас. Путяты о впечатлении этой статьи на придворных;—Шипова об ограниченных правах.— Проповеди Иннокентия. Толки в народе, в Симбирской и других губерниях. Гиляров. Слухи о волнениях в Москве. О статье о царствовании Николая Павловича. Письма от Елагина, от М. Карташевской, от П. А. Васьковой, от Ивана (от Кулиша еще прежде).

26 сентября. Все разъезжаются. Маменька едет с Наденькой и Любинькой в Москву.

27 сентября, вторник. С почты один «Journal de Francfort». Известия в нем. № 32 не прислан, причина тому статья о государе.— Наши разговоры.

велено было отдать!.. Что после этого говорить? Одессу, которая прошлого года была защищена двумя пушками, которую после того так сильно укрепили и снабдили всем, отдают теперь сами,— что это значит! На что это похоже? Дать врагам еще опорный пункт, с которого они могли бы действовать против нас с удвоенной силой! Одессу отдать — это значит отдать Бессарабию и Николаев и т.д. Где же, наконец, остановится эта мания все отдавать? И тут даже не Горчаков распоряжается, а Лидерс или лучше сам император со своими тремя братьями. Что же они делают в Николаеве? Что за роковое ослепление? Вот истинно гнев Божий! Куда стремится Россия, в какую бездну? Что остановит ее падение? Об этом известии еще не только не напечатано, но и говорится с осторожностью.

Среда, 28 сентября. Приезд утром Гилярова, рассказы его, его отставка, заключение, почему. Слова Филарета. Рассказы о книге странствий Парфения; Тат. И. Фед., Ив. Яковл., его история.

Четверг, 29 сентября. Получены письма от маменьки из Москвы, от Кулиша, от Любен., московские газеты, журналы иностранные — их содержание.

Пятница, 30 сентября. Константин ходил пешком к Троице; привезены два письма от маменьки, М. Карташевской, газеты, «Journal de Francfort». Флот появился перед Одессой,— депеша сообщает. По поводу государя нашего — рассуждения и статья о Нахимове, рассуждения о действиях Горчакова и государя,— намерения наших врагов, неудача под Евпаторией, Врангель будет отрезан. Положение Австрии и Пруссии, отношения к Франции; Англия выставляет свой позор при Севастополе, бранит своих генералов и т.д.

2 октября. Письма маменьки и сестер о Самарине; об ополчении толки и вести; чего ждать. Газеты московские, депеши из Крыма и из Николаева. Враги идут на Бахчисарай; журналы иностранные — мы не стреляем.

Переговоры Горчакова с Пелисье. Австрия и Пруссия. Положение нашей армии и т.д. Много было толков и споров и рассуждений. В московских газетах напечатан, наконец, циркуляр Ланского к предводителям, который так все хвалят. Это аристократическое направление огорчает нас. Роковое ослепление, недостаток сочувствия к народу и славянам, аристократическое начало,— noblesse oblige. Конституция. Аристократия. Орлов-Давыдов и др. О Николае Павловиче и его непоследовательности сочувствия к народу, к славянам; его система, страх за крепость трона. Депеша Горчакова. Флот под Одессой. Приказ государя. Недоумение маменьки. Письмо-ответ от Самарина. Ланской успокаивает дворян в том, что он будет поддерживать их права и т.д. Так вот убеждения А. Н. Он им остался верен; он против эмансипации помещиков! Как же им не быть довольным, но это грозит страшными бедствиями, народ уже ждет свободы!

Маменька пишет нам еще какие-то намеки, которые не менее нас смутили и привели в недоумение. Что такое! Неужели в самом деле пришло время внутренних волнений и переворотов? Боже мой, дух занимает от всех этих предчувствий и ожиданий! Маменька пишет, Погодин чернее ночи... тоже... Сама маменька с сестрами приедет не прежде, как завтра и письмо привезет С. Маменьку задержало то обстоятельство, что книга отесенькина совсем процензурована, но приехал министр просвещения и сочли нужным ее показать ему — цензор просил маменьку подождать окончания этого дела.— Боимся, что этот д... Норов не пропустит потому уже, что это Аксаков. Запретил же он издание «Охотничьего сборника». Говорят, новый цензурный устав уже подписан государем, но здесь еще не введен. Крузе (цензор) очень обязателен, был сам у маменьки два раза. Сколько толков, сколько догадок, волнения и возмущения душевного возбудили все вести, сообщенные маменькой! Страшно становится, как подумаешь, что ожидает нас впереди. Господи, спаси и помилуй нас среди всех этих треволнений! Огради нас от греха, дай нам, Господи, творити волю Твою, дай нам познать грехи наши и покаяться! Очисти нас Боже, и всю землю русскую!..

9 октября, воскресенье. Боже мой, вот и еще горестная весть и оттуда, откуда меньше всего ее ожидали. Муравьев сделал приступ на Карс и отбит с большим уроном. Четверо из лучших кавказских генералов ранены, трое из них тяжело. Одна надежда, одна светлая точка была для нас в наших войсках в Азии. Все надеялись на Муравьева и тогда, когда положение Карса было уже так дурно, когда уже все ожидали, что он скоро сдастся, Муравьев, без всякой приготовительной бомбардировки, делает приступ, губит самое лучшее войско, которое прежде никогда не испытывало поражения, которое в настоящую минуту составляло всю нравственную и материальную опору России. Боже мой, что это за несчастье! Это окончательно нас привело в отчаяние. Каково же это должно было подействовать на сами войска наши; несчастные, которых так бесполезно губят их безумные вожди.— По газетам же видно, что Карс сдался бы сам, не дождавшись подкреплений, если б только Муравьев подождал. Что

с ним сделалось, право, я думаю, на него нашла одна из тех минут чудачества, или своего рода помешательства, о которых нам рассказывала Прасковья Андреевна Васькова. Меня и тогда испугали эти его особенности. Зачем сменили Бебутова, когда так хорошо шло при нем? Все интриги, должно быть. До сих пор не знаем, почему прошлого года, когда Бебутов, разбив всю турецкую армию, остановился перед совершенно беззащитным и неукрепленным Карсом и не занял его. Разумеется, это он сделал не вследствие своих соображений, а, конечно, каких-нибудь распоряжений из Петербурга. Австрия испугалась, вероятно, наших побед и завоеваний в Азии и потребовала от нас и эту уступку! Возмутительно подумать о том, что сделали с Россией в это время, как погубили ее, к чему привели ее постепенно, тогда как вначале открывалось такое святое торжественное поприще, когда и в материальном отношении ее было так выгодно и непреодолимо! И, конечно, только сама Россия могла погубить себя так. Никогда враги не могли бы этого сделать. Враг наш, наша или все равно австрийская правительственная система, которой представителем,— и главным звеном и силой,— Нессельроде, этот злодей и предатель России! — Конечно, без воли Божьей все это зло не было бы допущено, если б не вызывали его наши безмерные вопиющие грехи, за которые мы теперь должны принять должную казнь для того, чтобы очиститься и возродиться. О Боже, дай нам силы выйти из этого огненного искушения возрожденными, дай нам силы покаяться и очиститься! Несть грех побеждающ милосердие Божие, но надобно почувствовать грех свой и невозвратно покаяться в нем, чтоб уповать на милосердие Божие.

Признаюсь, на меня находит иногда сомнение, которое пугает меня самою, возможно ли покаяние для России, не слишком ли уже далеко в сердце проникла эта язва, возможно ли очищение, остались ли еще живые силы для того, чтоб сознать грех и почувствовать раскаяние, для того чтоб возродиться!

Боже, у Тебя и силы, и исцеление, и жизнь! Ты можешь все, неужели Ты дашь погибнуть народу, хотя заблудшему, но верующему в Тебя! Боже, обрати и помилуй! Но через что, через какие страшные бедствия должно пройти, чтоб до-

стигнуть исцеления, после такой порчи, страшно и подумать, воображение отказывается представить это будущее. Именно только тогда, когда каждое лицо почувствует свои грехи,— только тогда возможно очищение, а для того какие надобно бедствия, чтоб каждое лицо отдельно выстрадало это покаяние.— Вот предмет неистощимый наших современных разговоров, которые выражают только ту душевную боль, которую каждый из нас носит в душе своей. Особенно наводят ужас рассказы, так часто повторяющиеся, о том грабеже, воровстве, взяточничестве, которое так въелось в русскую жизнь, так исказило понятия даже и честных людей, о всех тех вопиющих неправдах, совершающихся ежеминутно, о всей той системе зла, которая царствует во всем и опутывает всех, из которой нет исхода, для которой нет средств исцеления,— и все частные усилия поправить только ухудшают дело, и безнадежны. Один Бог может спасти нас!

У нас был священник в это время, и со своей стороны, в своем простом и грубоватом рассказе представил такую ужасную картину внутреннего производства дел в России.— Константин думает, что свободное слово в состоянии было бы искоренить зло; нет, мне кажется, теперь этого недостаточно: только совершенный внутренний переворот, полная перемена всей системы может вызвать новую жизнь, но во всяком случае и теперь и после свободное слово необходимо.

Сегодня получено письмо от Гриши, он и не думает об ополчении, а оно уже назначено и вряд ли ему можно будет избежать его. Мы боимся и за Константина, хотя по уставу ополчения он не может быть даже выбираем, потому что нигде не служил, но за недостатком дворян в Самарской, а особенно в Оренбургской губернии как бы не сделали исключения, сохрани Господи! — Получено письмо от Оленьки, она встревожилась, думая, что мы не переедем в Москву.

Журналы иностранные полны описанием всего, что найдено в Севастополе и т.д.

Вторник 11 октября. На почте были письма от Оленьки, от Казначеева.

Оленька очень встревожила нас известием, что дядя нанял дом Живаго, который, если в нем нет духовых печей, был самый удобный для нас, но Оленька уверила дядю, что

мы рассчитываем на дом Ильинского, что она заключила по нашим письмам. Как теперь это устроить и не знаем! Маменька сама завтра поедет с Константином в Москву.

Письмо Казначеева, ответ на письмо отесеньки, в котором выражалось горячее сочувствие его горю, у него сын ранен в шею пулею. Казначеев благодарит от души и вместе с тем говорит с такой покорностью и полной преданностью к воле Божией о том, что готов на все, что истинно остается только удивляться. Надобно быть истинным христианином, чтоб иметь столько духовной силы. Казначеев сообщает нам еще невеселую весть; Кинбурн, крепость, разорена и сожжена врагами, каким образом все это было, неизвестно, всего вероятнее, что мы сами ее оставили. Вот и еще дали пункт им утвердиться, для того чтоб им удобнее было действовать против нас. Казначеев пишет, что особенно жаль потому, что богатый Днепровский край будет опустошен. Ходят слухи, (пишет Казначеев), что был второй приступ, но не наверно. Наш царь распоряжается обстоятельно и т.д. Враги наши думали отвлечь наши силы от Горчакова, но ошиблись. Владислав Максимович Княжевич (председатель в Палате казначейства в Симферополе) спрашивал официально Горчакова, не время ли вывезти казну из Симферополя. Горчаков отвечал *«Вовсе не нужно»*. Впрочем, я вовсе не вижу из этого ответа что-нибудь ободряющее, Горчаков и Керчь сдал, не предупредивши жителей, так и теперь: если он это делает и без злого умысла, так не менее того его распоряжения могут быть пагубны. Иностранные журналы говорят, что он сам хочет уйти в Симферополь, но Пелисье, конечно, нанесет ему прежде последний удар; а между тем войска наши, именно гвардия, беспрестанно идут через Николаев в Крым, и это все на жертву этому губителю Горчакову. О Боже! смилуйся над нами. Казначеев в своем письме старается и себя, и нас утешить, что фонды в Англии и Франции упали, что народы желают мира, что, наконец, в Париже было возмущение и Наполеон ранен в плечо; это последнее, вероятно, вздор, а если и правда, так плохое утешение. Наполеон им нужен, и они будут за него держаться крепко.

Среда, 12 октября. Маменька и Константин поехали в Москву. Дай Бог, чтоб все устроилось хорошо и на добро.

Уже после их отъезда явился неожиданно бывший камердинер гр. Толстого, Иван Петрович, возвратившийся по болезни, и принес записочку от Ивана от 17 сентября еще, из Киева. В этот день он должен был уехать, чтоб нагнать свою дружину, выступившую еще прежде. Иван прислал нам киевскую просфору и коробок киевских сухих конфект. Иван пишет, Горчаков объявил, что теперь начинается полевая кампания, и стягивает войска к себе. «Ожидаю от Горчакова новых глупостей или новых несчастий». И, конечно, от Горчакова нечего другого и ожидать. Он истинный бич Божий для нас. Господи, избави нас от него и спаси наше несчастное войско! Пусть Горчаков наслаждается всеми благами и почестями, только бы не имел он возможности губить наши войска. Нет, нет извинения Александру Николаевичу, что он его оставляет на том же месте и допускает его губить и Россию, и войска.— Как он сам не откажется от начальства, видя неудачи свои, если б он был добросовестный человек и благонамеренный, то, конечно, давно бы уже отказался, а теперь нет ему извинения.

Четверг, 13 октября. Сегодня рано получили почту, она была богата разными вестями, и частными и общими. Оленька присылает записку Погодина, в которой есть такие слова: ...[1]. Как их объяснить? Что значит «союзное время»? Он пишет еще и о Ермолове, что он свеж и бодр и здоров, и как умен! Всего же удивительнее то, что на другой-третий день после присылки своей записки явился сам к Оленьке, спрашивал, когда приедет кто-нибудь из деревни, был необыкновенно весел, шутил даже с дядей и звал его в клуб и т.д. Тогда как постоянно в последнее время он был страшно мрачен. Политические дела не лучше, а хуже, стало быть, тут что-нибудь другое, вероятно, он получил какие-нибудь добрые вести насчет себя, может быть, назначение на место, на котором он надеется принести пользу.

К Погодину приходили купцы и просили написать статью об устройстве железной дороги в Индию из Оренбурга до наших крепостей. После того, верно, уже устроят железную дорогу из Москвы в Оренбург; как бы это было хорошо, весь

[1] Пропуск в оригинале.

край бы обогатился. Погодин сперва было отговорился незнанием дела, но купцы привезли ему свои бумаги и упросили его составить статью. Погодин написал вроде шуточной статейки; говорят, и в ней ввернул свой взгляд и убеждения.— Оленька сообщает депешу из Николаева, напечатанную в «Полицейской газете». Эта депеша позднее тех, которые напечатаны в «Московских ведомостях», полученных сегодня. Из них видно, что крепость взята или сдана после страшной бомбардировки со всего флота. Николаевскую батарею мы сами взорвали, так что неприятель беспрепятственно прошел через лиман и в Днепр, и в Буг. С наших полевых батарей была открыта канонада и с кораблей неприятельских также; продолжалась час, и суда возвратились назад! Что-то будет! Все строят батареи. Государь ездил их осматривать, а что будет пользы, увидим. Если неприятелю удастся сделать вылазку на Днепр, то, верно, он пройдет прямо к Перекопу, и можно ожидать, судя по всем действиям и распоряжениям наших начальников, что Перекоп будет взят, тогда Горчаков со всей армией, и весь Крым будет в их руках.— Пелисье что-то готовит в тиши, не торопясь, а Горчаков сидит себе неподвижно и только посылает отчет об успешных работах, дорогах и высадках неприятеля.

Получено письмо от Кулиша с просьбой денег по напечатанию второй биографии Кулиша, которые отесенька обещал достать.

Письмо от М. Карт. с важным известием, касающемся ее лично. Еще письмо неожиданное от М. Самб., умное и прекрасное. Бедные, как они страдают! У них опять что-то произошло... Оленька сообщает также об одном страшном происшествии, случившемся на днях в Москве! Какой-то купец получил посылку с надписью: распечатать ее не иначе, как при свидетелях. Он собрал полицейских чиновников, стали распечатывать, ящик взорвало, и один из них погиб, других обожгло и т.д. Говорят, что это дело поляков или англичан, что за зверство отвратительное.

В пятницу, 14 октября получили мы письма от Трутовских отчаянные, положение сестер ужасно, Алексей Иванович запретил им видеться с Трутовским... Что делать, сами не знаем! что-то скажут последующие их письма.— Письмо

большое от Ивана чрезвычайно интересное и замечательное. Он передает впечатление, произведенное на него за Киевским краем, что касается до природы, то она там очаровательна, но люди... Положение крестьян православных, принадлежащих полякам, угнетающим их сколько возможно и, потом, положение этих поляков в отношении правительства (у них отобраны даже охотничьи ружья) и всех русских; внутренняя вражда поляков, скрываемая под подлой угодливостью или лестью; все это так тягостно, так насильственно, представляет такое безобразие, которое возмущает свежего человека; впрочем, безобразия такого довольно и на всей Русской земле.

В субботу, 15 октября, ждали мы Константина, но вместо того прислана была подвода с письмами, уведомляющими нас, что Константин остался, потому что отесенькина книга еще не подписана, и кстати Константин хочет побывать на диспуте Гладкого (профессора ярославского лицея), который в своей диссертации несколько раз ссылается на его статью о д р е в н е м б ы т е с л а в я н в «Московском сборнике». Это, конечно, очень приятно. Клейнмихель, говорят,— прочь, и Киселев также. Все оживились, радуются, как победе, поздравляют друг друга. На место его герцог Мекленбургский и Чевкин. Константин очень хвалит Крузе, как самого благородного, свободомыслящего человека, и очень обязательного человека.

Воскресенье 16 октября. Мы с Соничкой ездили к ранней обедне; возвратившись, нашли уже почту, привезенную от Троицы. Писем никаких, только «Московские ведомости» и «Journal de Franfort». Объявлен набор повсеместный, кроме Малороссийской губернии и Новороссийской... а в Самарской и Оренбургской в одно и то же время — ополчение, так что с тысячи выходит 33 человека. Ужасно, тягость страшная и сверх того чувство общее, хотя не всеми сознаваемое, что все эти жертвы даром приносятся, без пользы, что это одно только истребление людей бесполезное. Какие стоны и вопли раздадутся повсюду! Прошло время, когда всякий пошел бы с охотой, когда святая цель возвышала и облегчала все жертвы. Известия Горчакова извещают подробно, как неприятель подвигается с обеих сторон около него, и, кажется,

его очень интересуют маневры неприятеля, которые клонятся к тому, чтобы захватить его в западню. Часов в 11 приехал Константин. Слава богу, у них все хорошо! — Константин привез нам очень много любопытных известий. Первая, главная и очень важная новость, что Клейнмихель отставлен; это окончательно подтверждается, хотя и не напечатано еще. Радость общая поразительна, точно настал светлый праздник Пасхи. В клубе, по получении этой вести, спросили шампанского и пили, поздравляя друг друга; говорят, к ним попросили присоединиться несколько инженеров и офицеров.

Рассказывают, что государь был поражен состоянием дорог, особенно в Перекопе, где дорога сделалась просто рвом, и через такие дороги должны проходить войска наши, со всеми их фурами, запасами. Была наряжена сейчас ревизия над Клейнмихелем и, наконец, недавно, в присутствии одного человека, который сам это рассказывал, Клейнмихель получил письмо, прочтя которое, он побледнел и сказал всем: «Ну, господа, я вам более не начальник»; просил в тот же день нанять ему дом, чтоб к вечеру уже переехать. И, говорят, он переехал в дом напротив государыни, которая одна за него и до сих пор все препятствовала сыну его отставить; говорят, и за Бибикова она его преследует, пристает к нему с жалобами, что он стесняет слуг своего отца, и т.д. Бедный Александр Николаевич, сколько ему надобно силы, чтобы преодолеть все эти препятствия, чтоб при всей его любви и покорности воле матери производить хотя какие-нибудь перемены и преобразования, необходимые для блага своего народа. И что не уедет эта пруссачка в свою Пруссию? Слава богу, что государь, по крайней мере, выехал из Петербурга, что он побывал в Москве, подышал другим воздухом, увидал других, услыхал другие речи, что, наконец, он в Николаеве, на самом деле увидит, в каком положении дела, лицом к лицу станет с тягостными обстоятельствами России, увидит близко все злоупотребления, все нужды. И он их уже начинает видеть и понимать; отставка Клейнмихеля уже тому доказательство, и точно, может быть, оставаясь в Петербурге, он не имел бы духу поступить так решительно, и теперь даже многие не верят, что это правда. Наряжена еще какая-то

комиссия для следствия над каким-то немцем в Николаеве, которой председателем — Константин Николаевич. Также приказано сделать следствие, почему могли пройти враги через проход у Керчи. Известие о Жабокрицком совершенно подтвердилось. Он и еще несколько человек сидят в крепости за измену, и над ними производится суд. Сколько этих злодеев поляков размещено у нас в армии везде, и многие из них занимают важные места для того, чтоб ловчее только вредить. Государь, говорят, еще долго останется в Николаеве, и дай Бог, это ему очень полезно; другая жизнь, другие люди его там окружают, — и это все понимают и радуются. Все оживились и ободрились, особенно после известия об отставке Клейнмихеля, точно после победы, и все очень сознательно говорят, что это начинается победа над внутренними врагами, что важнее всякой другой и от которой зависят и внешние. Везде, где ни встречаются друг с другом, первое слово «знаете ли вы, что Клейнмихель отставлен, поздравляю вас»; все светлы и радостны, везде говорят громко, и в лавках, даже с незнакомыми, и на улице. Купцы тоже, Константину пришлось говорить с некоторыми. Замечательно, однако ж, как сильно сочувствие к Великому князю Константину Николаевичу в купцах и простом народе. Говоря в книжной лавке с купцами об этих же событиях, причем купцы изъявили полное свое сочувствие всем его словам, Константин стал хвалить государя. Один купец сказал: «...*Так, да и помощник-то у него хорош*». Купец еще рассказал, как Великий князь Константин Николаевич хотел было ехать к Троице (а он особенно усерден к преподобному Сергию), но Ермолов сказал, что надобно спасать Севастополь, то лучше после приезжайте благодарить о победе, и Константин Николаевич тотчас же уехал. Видно, что они все добрые и хорошие намерения государя приписывают Великому князю Константину. И дай Бог, чтоб государь с братом постоянно находились в добром союзе, тогда будет хорошо, но иначе — беда. Константин говорит, что вообще слышится, что что-то движется, колеблется, поверхность как будто вздувается местами; как-то всем свободнее, дышать легче.

Хотя бы теперь и цензура: отесенькина рукопись пропущена почти вся без помарок, то пропущено, что отесенька

решался даже уступить. Слава богу, это так приятно, что истинно не так тяжело и горько на душе отзываются наши другие неудачи.

Константин был у Крузе с поправками, сделанными отесенькой. Крузе, которого Константин очень хвалит, еще уменьшил исключения, но посоветовал Константину съездить к Назимову, потому что Назимов, может быть, захочет послать все-таки к министру рукопись, так как тот сказал, уезжая: «Пришлите мне рукопись», но это в таком случае, если б отесенька не согласился на поправки. Константин был у Назимова, тот принял его очень ласково и тотчас же согласился не посылать рукописи, если Крузе берет на себя ответственность. Назимов добрейший человек, и Крузе говорил потом Константину: «Я знал, что он вам не откажет, он никогда не отказывает». Назимов, между прочим, говорил с Константином также о Клейнмихеле; он еще до сих пор не может поверить и боится предаться вполне этой радости. Удивительно, каково надобно быть человеку, чтоб возбудить во всех, во всем государстве такое общее счастье и радость своей отставкой. Чевкина все очень любили как самого честного и благонамеренного человека, вполне русского, даже славянофила. Крузе рассказал, как он пересматривал с министром отесенькину рукопись. Рассказ о бунте учеников министр было усомнился пропустить, но уступил скоро убеждению Крузе и даже прибавил, что сам так же бы поступил в молодости. Насчет же славянофилов министр сам все пропустил, тогда ему Крузе сказал, что у них, напротив, есть предписание, не пропускать слова *славянофил,* на что ему министр дал почувствовать, что теперь *не то* время. И точно, видно, были сделаны какие-нибудь распоряжения не стеснять славянофилов. Каково было удивление Константина прочесть в диссертации Гладкова печатно беспрестанно ссылки на свою статью о *древнем быте славян* с величайшими похвалами, тогда как еще недавно министр сам называл ее чуть не революционной и тогда как циркуляром было запрещено не только пропускать похвалы, но даже возражения на нее, даже просто не позволено было ссылаться на нее. А теперь целая диссертация, основанная на ней и печатно ее восхваляющая. Крузе сказывал, что было

предписание, в котором позволялось пропускать рассуждения о родовом быте, но о быте общинном, как о революционном, запрещалось.

Зиновьев уверяет Константина, что министр имеет намерение снять с них подписку; если это будет, то это покажет окончательно намерение нашего правительства, дай Бог, какое это будет счастье. Но как объяснить выходки министра в разговоре с Константином? Тем разве, что в голове у министра еще не все вдруг уяснилось, он очень забывчив и вдруг вспомнит старое впечатление и путает все; или не написал ли ему Вяземский что-нибудь вследствие письма Константина, а он Вяземскому очень доверяет и находится, кажется, под его влиянием. Вяземский должен быть на днях в Москву и Константину необходимо с ним повидаться и откровенно переговорить.— В самом деле, может быть, справедливо замечание, почему Вяземский мог написать такие стихи и такую статью о государе Николае Павловиче; потому что, живя за границей в такое время, когда везде слышались оскорбление и злоба против России, и особенно против государя Николая Павловича, он слил в одно в своем впечатлении Николая Павловича и Россию. Говорят, что за границей нельзя слушать равнодушно брань на государя, хотя бы дома сами его бранили гораздо более. К тому же надобно прибавить, что Вяземский был дома в такой ипохондрии, которая граничила с сумасшествием, и все это время проводил за границей. Возвратясь же в Петербург, он там нашел чуть не поклонение государю Николаю. К тому же христианская кончина государя Николая не могла не сделать на него впечатления. Надобно надеяться, что, приехавши в Москву и услышавши другие речи, он поймет другой взгляд. Вот еще замечательное и важное доказательство иного направления. Князь Львов, который был отставлен из цензоров за пропуск сборника Тургенева, так что ему не позволено было служить,— теперь назначен цензором. Каково! Говорят, ему предлагали другую должность, но он не хотел взять; за него многие просили, и государь велел справиться, точно ли он виноват или был ошибочно отставлен; сделали об этом запрос Назимову; тот очень благородно отвечал, что он по совести убежден, что Львов вполне прав и

невинно был отставлен. Погодин рассказывал Константину, что был недавно у Ермолова и нашел его бодрым и свежим и духом и телом, и умом, как в цвете лет. Ермолов называет поступок Муравьева (т.е. атаку Карса) просто безумием, хотя вообще Ермолов любит и хвалит Муравьева. Истинно гнев Божий! Сколько ужасной гибели, и совершенно даром, и каких людей! Ермолов говорил также о том, что вытерпел Меншиков, будучи главнокомандующим в Крыму, как его там мучили и оскорбляли и не исполняли его требований. Два раза посылал он своего адъютанта требовать подкрепления (кажется, перед высадкой), на что ему государь отвечал: *«Ты скоро будешь бояться своей тени!»* — Каково было это принять. Но я все-таки уверена, что государь не мог бы так быть уверен в невозможности высадки, если б его не постарался в этом убедить и поддерживать этот злодей и предатель Нессельроде.

Ермолов называет Пелисье нашим спасителем, потому что он, разделив свои войска и направив их на разные пункты, лишил себя всякой силы и возможности действовать против нас с успехом. В Николаеве, говорят, ничего не будет, это только демонстрация пустая. Не знаю, вследствие ли расспросов Погодина, но Ермолов ему сказал, что он сам предлагать себя не будет и что если ему предложат, то он будет отговариваться, что ему не под силу теперь, но что, если государь будет непременно этого желать, он сочтет за долг согласиться.

Разумеется, он примет начальство, и если Бог благословит, то может еще поправить сколько-нибудь наши дела, как они уже ни испорчены. Погодин сообщил Константину, что написал к Дмитрию Оболенскому письмо о Ермолове, именно указывая на него как на главнокомандующего, а Дмитрий Оболенский перешлет это письмо к Константину Николаевичу. Дай Бог, чтоб это удалось. Погодин имеет теперь весьма большое значение и даже влияние; он получил недавно письмо от секретаря князя Долгорукова (военного министра), писанное по поручению князя и от его имени, в котором князь спешит поздравить Погодина с огромным успехом его статьи, которая нашла полное сочувствие в общественном мнении; и что это ему особенно приятно сообщить и т.д. Что Долгору-

ков, который был против его статьи, пишет к Погодину такое письмо, это так замечательно и удивительно, что не знаем, как объяснить. Конечно, вероятнее всего, что Долгоруков этим письмом хочет сам себя оправдать перед общественным мнением, которого значение, может быть, они уже начинают чувствовать. Особенно теперь, когда Клейнмихель должен упасть.

Хорошо, если б и Долгорукова прочь, но он, говорят, в полной силе. Приехал из Севастополя Егор Оболенский, брат Андрея Васильевича. Константин, впрочем, его не видал, но Михаил и Юрий Оболенские ему сообщали его рассказы о Горчакове. Он отзывается *холодно,* как выразился Михаил Оболенский. Он рассказывал анекдоты про его забывчивость, доходящую до крайности; человек вовсе без головы! И такому-то человеку вверена не только честь, но вся судьба России и жизни сотен тысяч людей! Это глубоко возмутительно. Егор Оболенский, адъютант Остен-Сакена, и ни один из его адъютантов не был ранен. Егор Оболенский прибавляет, судите как хотите, но это факт. Остен-Сакен, отпуская своего адъютанта на место битвы, крестит его и, отпустивши его, молится о нем сам, когда идет на сражение, служит молебен, и по возвращении также.

Малахова башня была взята нечаянно, но, говорят, что Тотлебен несколько ошибся, что сделал сзади ее ров, который и послужил препятствием для отбития ее вновь нашими войсками. Воейков бросился в него первый, чтоб ободрить солдат, и был первый убит, а за ним и почти все начальники. Но когда овладели Малаховым курганом французы, произошел страшный взрыв; много погибло, и французы бросились назад, но в это время подоспели резервы, и Пелисье своих принял в штыки и заставил вернуться. Ополчение Курское дралось отчаянно, но офицеры ополчения, говорят, разбежались.

Владимир Самарин, говорят, чрезвычайно храбр. Солдаты скучают по северной стороне, потому что тут началась правильная жизнь, учение и т.д., и говорят, что на южной стороне жизнь была свободнее, вольнее и порцион вдвое, только бомбардировка. Говорят: «На северной сильная позиция».— Михаил Оболенский был у нас и познакомился с маменькой;

он сказывал, что Самарин уезжал чрезвычайно грустен, он делал прощальный обед, и Оболенские говорили, зачем Константин не приехал, но Константин не знал заранее, когда Самарин был в Москве. Как грустно и тяжело вспоминать, что Самарин должен был идти в ополчение! Оболенский сказывал, что Великий князь Константин Николаевич говорил прежде, что не успокоится, покуда не завербует Самарина к себе, но Самарин решительно отказался, он не хочет связывать себя службой.— Оболенский очень хвалит Константина Николаевича и утверждает, что все слухи, распространяемые о его дурном характере и деспотизме, совершенная клевета. Насчет государя Оболенский говорит, что он очень слаб и никогда бы не решился отставить Клейнмихеля, если б был в Петербурге. Михаил Оболенский сказывал, что в первое время после Николая Павловича хотели его канонизировать! Почти невероятно, но в Петербурге все возможно. Хорошо также и то, что было намерение раздать всех казенных крестьян в частные руки! Но, кажется, это отменено. Также не очень приятное известие о дозволении вывозить хлеб из Крыма для Австрии; это значит давать нашим врагам возможность нас истреблять и разорять.

Когда Константин был у Оболенских, Михаил Оболенский ему показывал *записки его отца*, найденные после него, о которых до сих пор никто не знал. От семейных или его личных записок осталось всего листа четыре; остальное, должно быть, истреблено. Другие же касаются его служебного поприща и деятельности; тут много рассказов о Павле, вполне его характеризующих, чрезвычайно любопытных; и семейные его записки открывают всю его простую верующую душу и чисто русского человека. Никто и не подозревал, что Алекс. Петр. каждый день отдает себе отчет не только в событиях своей жизни, но и во всех движениях души своей и строго их разбирает и судит. Все Оболенские удивительные люди: при всей, кажется, пошлости и пустоте своей жизни сохраняют все тот же мир душевный и истинную доброту сердца.— Михаил Оболенский был чем-то при посольстве в Вене и сказывал Константину о том сочувствии, которое славяне и вообще православные имеют к Рос-

сии. «Я только их не отталкивал, как другие, и они меня чрезвычайно любили».

Константин давал ему читать свою записку, без письма, разумеется, и он пришел в совершенное восхищение по-своему. Он упросил Константина дать ему списать.— Шипову также давал читать Константин, и тот тоже вполне доволен и согласен. У Казначеева Константин встретился с Кушниковым, которого принял сперва за ополченного, но потом Кушников объявил ему, что он так просто носит русское платье и что не отпускает бороду только по просьбе жены.

Кушников рассказывал, как он сам был свидетелем, с каким благоговением и любовью даже говорят поляки о Назимове за его добрые поступки в Польше. Вот еще замечательная новость. Приехавши в Москву, Константин узнал, что адъюнкт Гладков из Петербургского университета будет защищать диссертацию, всю основанную на статье Константина о родовом быте, и потому он был на диспуте и познакомился с Гладковым. Но как позволили печатно хвалить Константинову статью, это удивительно, тогда как министр еще так недавно выразился о ней так неблагоприятно.

На этом дневник оканчивается. Он прерван переездом в Москву. Сохранился еще клочок бумаги с едва видными набросками карандашом следующего содержания:

Вторник, 15 ноября [1855 г.]. Мы в Москве с неделю. Переезд в Москву; политические разговоры. Впечатление первых дней; приятные известия семейные. Политических вестей почти никаких. Скоро приезд государя, Москва. Путятин, его история. Константин Николаевич другой дорогой, его жена. Добрые вести о государе, его слова; я хочу думать. Посещение Крыма и армии; восторг, простое обращение. Письмо Ивана об ополчении и т.д., неудовольствие и проч. Строганов, адрес ему. Письмо от Макарова (Кулиша), его книга в рукописи. Базунов о книге отесеньки. Новый журнал Каткова; предложение его отвергнуто. Письмо от Маши Карташевской, нездоровье тет.— Гости и покупки. Приказ Горчакова. Рескрипт. Ермолов, его рассказы, интриги против него; о Лидерсе. Известия о Север. и Булье; о

статье в Библ., упомянуто о Константине. Крузе. Книга Кулиша. Погодин, Головин, Тотлебен, Мельников, Чевкин, Клейнмихель. 14 миллионов долга... Мы были 8 ноября в церкви. Пальчиковы; снег. Письма дяди и др. Газеты и журналы иностранные. Новое поражение подтверждается. Что-то впереди! Речь Наполеона. Журналы, рассказы солдат и т.д. Мы были в Кремле, у Иверской. Еще не устроились.

Затем на последних листках тетради дневника записано, верхом вниз, видимо, продолжение того, что набросано карандашом на клочке бумаги, т.е. запись следующего дня: среда 16 ноября 1855 г., в Москве.

Среда, утро. Щепкин хотел прислать комедию, сказал, что будет Казначеев. После присутствия приехали они с Погодиным в 6 часов утра. После него явилась Мария Ивановна; говорили о Воейкове, о Сумарокове. Мы завтракали — приехал Самарин,— о Хомякове, об Ив., о Погодине, о слухах политических; Казначеев приехал,— Самарин стал прощаться, они говорили друг с другом. Самарин уехал. Казначеев посидел довольно долго; сердится, что сенаторов сделали зависимыми от министра, что он сейчас бы поехал к нам, что теряет память, спрашивал, кто из братьев сидел, рассказывал про Бернадота, про современный энтузиазм и т.д. Вечером без меня были дети Хомякова, Хомяков, Воейковы. Мы сами ездили к Елагиным, видели К. Ив., Павлову, Бартенева. Томашевский рассказывал, что Редклиф отсылается; Н. Арну — начальник над всеми; визирь назначен, который за Россию; Рашид-паша будет сменен. Можно предполагать мирную сделку; Турция на все согласна, что Россия требует. Почему же и не быть так? Славяне будут жить в Турции, как у нас иностранцы. Англичане в Греции не останутся (впрочем, должны очистить и французы). Турция все же не будет... Вена старается о Греции... Австрия прилагает деятельное участие за нас (зачем допустили союз Австрии с Пруссией? Король подписал, не зная сам что, и потом сменил министра).— В газетах ужасные ругательства; № 40 Лойда запретили. Одна прусская газета упоминает о прибытии государя за благословением своего тестя. Мы остановили движения черногорских и сербских славян. Прокламация черногорского князя — фальшивая. Известие какого-то

приезжего, будто бы захватили судно английское с 40 миллионами серебром. Силистрию вовсе не будут брать, а только обложат. Паскевича нет; при Силистрии командуют Лидерс и Хрулев. В венской газете пишут, что турок было 5 тысяч, а наших 2, кажется. Вообще везде у нас по горсточке против большого количества. Войска еще идут на Дунай. Ошибки были сделаны давно (говорит Т.), теперь их надобно поправлять. Меншиков предлагает идти на Константинополь, а Паскевич — на Вену, и не решился государь. Восстание греков не подавлено. Америка еще медлит, но поможет. Флоты должны будут уйти, уговаривают Швецию, а Швеция не решается, покуда англичане не начнут решительные действия, не сделают чего-нибудь значительного. Флот французский медлит соединиться с английским; вообще французы что-то затевают и как бы англичанам не остаться в дураках. Наполеон начал все дело из личной мести за отбитых трех невест, за непризнание династии и т.д. Мы щадим Францию во всех статьях и т.д. Намерения наши водвориться на Балканах и занять всю Болгарию, запастись хлебом до зимы, а между тем приготовить славян к военным действиям — оружия нет. Пусть Франция и Англия сидят в Турции (говорит Том.), их армия сама распадется через год. Англичане желают войны и желали всегда, а Наполеон нет. Австрия в конвенции постановила, чтоб мы не переходили Балканы и не утверждались в княжествах. О переговорах с Сеймуром, о недостатке войска, приготовлений военных, дело завязывалось само собой. Денег у нас много в монете и в слитках, к тому же пожертвования. Мы дома, если и потерпим поражения и неудачи — поправимся, а у них нет резервов. Защищает Закревского, почту и т.д. Спросите у кузена, как все делается. (Слова А. Ф. Томашевского.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из записной книжки В. С. Аксаковой

Последние дни жизни Гоголя

Напечатанные в журнале «Минувшие годы» (1908, июль) заметки о последних днях жизни Н. В. Гоголя взяты из записной книжки Веры Сергеевны Аксаковой. Об отношениях Гоголя к семье Аксаковых рассказано подробно С. Т. Аксаковым в «Истории моего знакомства с Гоголем»[1]. В числе материалов о Гоголе, тщательно сохраненных в аксаковской семье и приведенных С. Т. в порядок для этой книги, находим выписку из письма Веры Сергеевны к матери Гоголя о последних с ним встречах и несколько строк о том же из письма к С. Т.[2] Сообщения Веры Сергеевны в письме к Марье Ивановне Гоголь не расходятся, конечно, с заметками в ее книжке, но заметки содержат много новых и ярких подробностей; в записной книжке Вера Сергеевна не стремилась к сжатости и не руководилась сообщениями о том, как некоторые детали могли бы повлиять на М. И. Гоголь.

Ред.

...30 января 1853 г. Ровно год тому назад вечером приехал Гоголь к нам в маленький дом, в котором мы жили[3].

---

[1] Отрывок из этой работы — в 3-м томе Полного собрания сочинений С. Т. Аксакова; в полном виде сочинение занимает всю 8-ю книжку «Рус. арх.» за 1890 г.

[2] Рус. арх. 1890. Т. II (№ 8). С. 196 — 198.

[3] Зиму 1852 г. семья Аксаковых жила в своей деревне Абрамцеве, а для больной дочери Сергея Тимофеевича был взят в Москве маленький дом, в котором жил с ней постоянно кто-нибудь из семьи.

Мы сидели в отесенькиных комнатах. Гоголь взошел и на наш вопрос о его здоровье сказал.

— Я теперь успокоился, сегодня я служил один в своем приходе панихиду по Катерине Михайловне; помянул и всех прежних друзей, и она как бы в благодарность привела их так живо всех передо мной. Мне стало легче.

На наши слова, что он не был на вчерашней церемонии, он отвечал: «Я не был в состоянии». Вполне помню, он тут же сказал, что в это время ездил далеко.

— Куда же?

— В Сокольники.

— Зачем? — спросили мы с удивлением.

— Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал.

Разговор, разумеется, касался большей частью Хомякова. Гоголь спрашивал, сколько его жене было лет, и вдруг, обратясь ко мне, сказал:

— А вам сколько?

— Тридцать три,— сказала я.

— А, так вы ровесница.

Гоголь в самом деле как-то был спокойнее.

1 февраля,— это была пятница 1852 г. — принесли нам поутру корректуру «Ревизора», но так как братья уехали в деревню, я не знала, что с ней делать, и послала ее с запиской к Гоголю. В 12 часов утра он пришел сам.

— Что значит,— я получил вашу записку, но не получил корректуру! Меня дома не было: я был у обедни; возвратившись, нашел записку, но без корректуры.

Нас это очень удивило, и я боялась, чтобы не пропала корректура. Гоголь сказал, что сам пойдет в типографию и спросит. Сказал, что был в церкви, потому что в тот день совершалась поминальная служба (вместо субботы, так как в субботу приходился праздник Сретения), хвалил очень свой приход, священника и всю службу. Я сказала, что сама была у ранней обедни, видела в первый раз Хомякова после его горя, что не решилась к нему подойти.

— Отчего же, напрасно,— сказал Гоголь,— это не могло ему быть неприятно. Напрасно,— прибавил он,— Хомяков выезжает, был в Опекунском совете и т.д.

— Да,— сказала я,— конечно, напрасно, многие скажут, что он не любил жены своей.

— Нет, не потому — возразил Гоголь,— а потому, что эти дни он должен был бы употребить на другое; это говорю не я, а люди опытные. Он должен был бы читать теперь псалтырь, это было бы утешением для него и для души жены его. Чтение псалтыри имеет значение, когда читают его близкие, это не то что раздавать читать его другим.

Говорили о М. А. [1], о которой он очень жалел, что такая старая женщина не возбуждает ни в ком к себе расположения, а всех раздражает. Много говорили о впечатлении, произведенном смертью на окружающих; возможно ли было бы с малых лет так воспитать ребенка, чтоб он всегда понимал настоящее значение жизни, чтоб смерть не была для него нечаянностью и т.д. Гоголь сказал, что думает, что возможно. Тут я сказала, как ужасно меня поразило это впечатление и как все тогда перевернулось у меня перед глазами.— Гоголь вдруг переменил разговор.

В это время приезжал Овер[2], и я пошла его провожать к Оленьке, он оттуда прошел прямо и сказал мне: «Несчастный!»

— Кто несчастный? — спросила я, не понимая,— да ведь это Гоголь!

— Да, вот несчастный!

— Отчего же несчастный?

— Ипохондрик, не приведи Бог его лечить, это ужасно!

— У него есть утешение,— сказала я,— он истинно верующий человек.

— Все же несчастный,— повторил Овер[3].

Я возвратилась к Гоголю, он в это время сидел с Наденькой, мы продолжали кой о чем говорить, предложили ему за-

[1] Мать А. С. Хомякова.

[2] Знаменитый московский доктор.

[3] Об Овере писала Вера Сергеевна отцу в Абрамцево: «Сегодня Овер удивил нас своими рассуждениями о Гоголе. Как он мог так истинно понять его и то, как должны были бы поступать с ним друзья! Даже слишком было больно слышать, что теперь... нельзя исправить. Но видно так Богу угодно, таковы судьбы Божии и для России. Но грустно, грустно... И никого близких из наших не было около него» (Рус. арх. 1890. II (8). С. 196).

втракать, он отказался. Он был постоянно весел или, скорее, светел как-то душой и лицом, нам было отрадно его видеть таким, и ни тени беспокойства на его счет не входило к нам на ум. День был ясный, солнечный, провожая его, я сказала ему, шутя:

— Вы сегодня не работали?

— Нет.

— Ну, —сказала я,— вы погуляли, теперь вам надобно поработать.

Он так светло улыбнулся на эти слова.

— Да, надобно бы, но не знаю, как удастся, моя работа такого рода — продолжал он говорить, уходя и надевая шубу,— что не всегда дается, когда хочешь.

Мы проводили его до передней и простились дружески.

3 февраля 1852 г. в воскресенье утром я была дома, когда пришел Николай Васильевич.

— Я пришел к вам пешком прямо от обедни,— сказал он,— и устал.

В его лице точно было видно утомление, хотя и светлое, почти веселое выражение. Он сел тут же в первой комнате на диване. Опять хвалил очень священника приходского[1] и всю службу. Я сказала, что в этой церкви венчались отесенька и маменька.

— В самом деле? Ну так скажите вашей маменьке, ей будет приятно знать, что там совершается так хорошо служба.

Я сообщила ему известие из деревни, что на другой день должен был приехать брат.

— Ваши братья скачут, как английские курьеры в чужих краях, только и знают, что ездят взад и вперед (сколько лишних хлопот). Вчера,— прибавил он,— получил я записку от Ольги Федоровны[2]. Какая-то бестолковая, она звала меня обедать, у нее должен был быть М. М. Нарышкин[3], только написала так, что я не вдруг догадался, когда она меня зва-

[1] Это был о. Алексей Соколов, скончавшийся в девяностых годах в сане протопресвитера храма Христа Спасителя.

[2] Ольга Федоровна Кошелева.

[3] Михаил Михайлович Нарышкин — декабрист, возвращенный в то время из Сибири.

ла, и было уже поздно, я обедать и без того не мог идти, но после пришел бы повидаться с Нарышкиным.

— Что вы делали эти дни? — спросила я его.

— Зачем вам? — сказал он.

— Были ли вы у Хомякова?

— Нет еще, не был.

Мне кажется, ему слишком было тяжело к нему ходить; опять говорили мы о значении чтения псалтыри. Я спросила его о корректуре; он сказал, что сам был в типографии и все устроил; говорили о печатании «Охотничьих записок»[1]. Я сказала, что очень тихо идет.

— Вы бы сами держали корректуру,— сказал он.

— Не умею.

— Да это вовсе нетрудно, стоит только выучиться этим знакам, я вам сейчас покажу, дайте мне какую-нибудь книгу.

Я подала ему «Москвитянина»; он достал свою карманную книжку, вынул оттуда карандаш, развернул журнал и показал примерно несколько знаков. В это время воротилась Наденька, я ей сообщила полученные известия и что ей предстоит скоро ехать в деревню.

— Да,— прибавил Гоголь,— вы и не знаете, а вам уже назначен маршрут.

Я сказала, нельзя ли устроить как-нибудь нам песни, а Гоголь сказал:

— Когда же? уже лучше на Масленице.

— На Масленице Наденька[2], может быть, уедет.

— Да, в самом деле — прибавил Гоголь, но тем разговор об этом кончился. Я попросила перейти в другую комнату, сообщила Наденьке корректурные знаки, которым учил меня Николай Васильевич. Он же сам прибавил, что советовал бы нам заняться этим, что за это можно даже деньги получать, что он нанимает теперь корректора и платит ему за один том 100 р. (кажется, за вторую корректуру). Мы расспрашивали его о печатании его сочинений, как оно идет; он говорит, что он раздал в разные типографии, что идет довольно медленно,

[1] Это — «Записки ружейного охотника» С. Т. Аксакова.
[2] Одна из сестер, которая имела голос и пела под руководством Гоголя малороссийские песни, что он очень любил.

что ему мешают. Мы звали его приходить к нам с корректурой и у нас ее поправлять, он обещал, и так мы простились.

4 февраля (1853 г.) я сидела в нашей маленькой гостиной с Митей Карташевским[1] (брат Константин, Митя и Любинька только что приехали из деревни, самовар был на столе). Мы говорили, очень живо, о Карташевских. Передняя комната была темна, портьерка в нее поднята, я услышала чьи-то шаги, но не обратила в первую минуту внимания на то, думая, что это брат. Шаги приблизились, я обернулась,— то был Гоголь; я ему обрадовалась чрезвычайно: вовсе его не ожидала. Он спросил, приехал ли брат, и, узнав, что он у Хомякова, сказал, что сам туда зайдет; спросил меня о здоровье, так как накануне я была нездорова. Уселся в углу дивана, расспрашивал о том, о другом, в лице его видно было какое-то утомление и сонливость. Кошелева прислала звать нас с Наденькой к ней, я ему предложила ехать туда же.

— Нет,— сказал он,— я не могу, мне надобно зайти еще к Хомякову, а там домой, я хочу пораньше лечь. Сегодня ночью я чувствовал озноб, впрочем, он мне особенно спать не мешал.

— Это, верно, нервный,— сказала я.

— Да, нервное,— подтвердил он совершенно спокойным тоном.

— Что же вы не пришли к нам с корректурой? — спросила я.

— Забыл, я сейчас просидел над ней около часу.

— Ну в другой раз приносите.

Но другому разу не суждено было повториться! Гоголь просидел недолго, простился, по обыкновению подавши нам руку на прощанье, и ушел. Это было последнее свидание. Как нарочно, я не пошла его провожать далее, потому что собиралась ехать. Ничто не сказало мне, что более его не увижу.

Мы все были поражены его ужасной худобой. «Ах, как он худ, как он худ страшно»,— говорили мы...

[1] Двоюродный брат В. С Аксаковой.

Указатель личных имен

Содержание